



ЛитРес: Самиздат

Эдуард Русаков

# Майский сон о счастье



ИЗБРАННОЕ

**Эдуард Иванович Русаков**  
**Майский сон о счастье**  
Серия «Русский ПЕН. Избранное»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=27624427](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27624427)*

*Майский сон о счастье Повести и рассказы:*

**Аннотация**

Сборник избранной прозы известного сибирского писателя, отмеченный в 2017 году международной литературной премией им. Фазиля Искандера.

# Содержание

ИЗ РАННИХ РАССКАЗОВ	4
ГОЛОС ПРОПАЩЕЙ ЖЕНЫ	4
СЮЗАНЭ С ПАВЛИНАМИ	21
КРУИЗ	39
ИЗ ЖИЗНИ МИКРОБОВ	53
ЗАТМЕНИЕ – 81	58
РЯДОВОЙ ИСАЕВ	72
ПРИГОВОР	78
СОЛИСТ ХОРА	87
КРИВАЯ БАЛЛАДА	96
АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ КЫРСКА	120
ПОВЕСТИ РАЗНЫХ ЛЕТ	165
ПОЛУГОЛЫЙ КОРОЛЬ	165
Глава первая	165
Глава вторая	167
Конец ознакомительного фрагмента.	169

# **Эдуард Русаков**

## **Майский сон о счастье**

### **Повести и рассказы**

#### **ИЗ РАНИХ РАССКАЗОВ**

#### **ГОЛОС ПРОПАЩЕЙ ЖЕНЫ**

Семь горьких лет тому назад Петра Степаныча все звали еще Петей. Хотя и шел ему тогда уже двадцать шестой год. Он был добр и расплывчат, сероглазый механик, склонный к сладким фантазиям и ночным грезам. Работал на старой электростанции, жил в общежитии и никак не мог выхлопотать себе отдельную комнату. Всё пугал председателя месткома:

– Я жаловаться буду! Мне жениться надо!

– Ну и женись, – лениво отвечали ему.

– А жить-то где? В общежитии? Мне двадцать шесть лет, а я – холостой. Потому что жить негде. Да.

– Ты женись, женись, – говорили ему. – Ты женись, а потом уж кричи насчет жилплощади.

– Странная логика, – удивлялся Петя и в грустной, глубо-

кой задумчивости удалялся прочь.

Но жениться пока не спешил. Мечтал, искал, планировал. Прогуливаясь после работы, проходя мимо парка, благоухающего черемухой и сиренью, Петя грезил наяву, сочиняя себе соответствующую невесту.

Но, как говорится, на практике все обстояло иначе – попадались на его жизненном пути сплошь аморальные стервы, или – что еще хуже – занудные старые девы. И вдруг – повезло.

Однажды летом, в томительный знойный вечер, Петя сел в автобус, следующий по мосту на правый берег, мимо острова Отдыха. Хотел искупаться после работы. Сидел у окна и разглядывал прохожих девушек, наспех прикидывая – подходят ли они для него.

Внезапно над головой, из вмонтированного в потолок репродуктора, раздался певучий женский голос:

– Това-арищи, не забыва-айте приобрета-ать биле-етки!  
Не толпитесь на задней площа-адке, проходите в сало-он!  
Билеты – в автома-атах!

«Очень приятный голос», – подумал Петя.

Шофер автобуса что-то еще произнес, то есть произнесла певучим своим голоском, а потом... А потом вдруг запела, используя микрофон:

– Тополя-а, тополя-а-а! – пела она.

Пела она хорошо.

Автобус себе катил по бетонному мосту, приближаясь к

острову Отдыха, а шофер, шоферша – пела и пела. Голос ее чуть дрожал от сотрясения автобуса, но когда она песню заканчивала, голос был чистым и звонким, без дрожи, протяжным и бесконечным.

Петя был очень взволнован. Выходя из автобуса на своей остановке, он задержался возле передней двери и успел рассмотреть лицо певуны. Шоферша была круглолицей и юной, с карими глазами и курносым носом, и с легким пушком над верхней губой. Она увидела в зеркальце заинтересованное петино лицо и, глядя же в зеркальце, подмигнула ему.

– Спасибо, – сказал Петя, словно случайно касаясь ее плеча. Плечо ее было горячим.

Петя запомнил номер автобуса. Направился было к берегу, собираясь по инерции все же купаться, но потом передумал и вернулся к остановке. И долго ждал, когда же возникнет-появится тот маленький синий автобус с поющей шофершей.

Он появился, автобус. Петя зашел, но не стал проходить в салон и садиться. Стоял рядом с открытой кабиной, рядом с ней.

– Это снова я, – сказал Петя.

– Приобретайте биле-еты! – пропела она в микрофон.

О, голос чудесный ее... движения нежных губ... блеск карих глаз.

– Спойте, спойте! Пожалуйста, спойте... – взмолился Петя.

Она рассмеялась, глядя на него в свое зеркальце, – и запела. Она пела прекрасно, успевая закончить песню от остановки до остановки. Петя так и стоял возле нее, все слушал и слушал. Она не ругала его, не прогоняла, не спрашивала – зачем он тратит время в такую жару, и чего он ждет-дожидается. Она пела и все понимала.

Когда на конечной остановке она вышла из кабины и отстранила его горячим плечом, он торопливо произнес:

– Постой, не спеши. Как тебя зовут?

– Елена, – сразу сказала она.

– погоди же. Когда ты свободна?

– Всегда! – И она рассмеялась.

– Нет, без шуток... Кстати – ты не замужем?

– Нет. Я свободна, свободна, свободна. Чего мнешься, чу-дак? Говори. Хочешь – приходи ко мне сегодня вечером.

– Хочу! Приду! Меня Петей зовут... Петром! – воскликнул он, а потом вдруг зачем-то добавил: – Не обмани, пожалуйста...

– Что? Я же сказала – приходи. Правда, своей квартиры не имею, снимаю комнату. Но это пустяки, – и она назвала адрес. – Не забудешь?

– Никогда!

Так состоялось знакомство. Познакомились, подружились, поженились. Спелись.

Петя был очень доволен новой жизнью, тем более, что вскоре после женитьбы ему удалось-таки получить одноком-

натную квартиру в одном из новых девятиэтажных домов.

Жили легко и весело, пели и смеялись, и не уставали целоваться, и все было хорошо. Обзавелись мебелью, купили телевизор, холодильник, то, се. Одно плохо – не было детей. Год прошел, два года – а детей все не было. Петя грустил иногда, задумывался, замолкал среди разговора. И если раньше грезил он о жене, то теперь еще более терзали его мечты о ребенке.

– Леночка, Лена, – шептал по ночам, – как же так? Нам бы мальчика... или девочку... уж ты постарайся.

– Не горюй, не печалься, – поющим голосом отвечала она. – Мы постараемся вместе... И все будет хорошо... все будет.

Он верил и засыпал, утыкаясь лицом в ее душистую подмышку.

Жили дружно. И друзья-приятели часто их навещали. Дом не пустовал. На все праздники, на дни рождения, и просто так – всегда и все собирались у них. Лена, конечно, крутилась на кухне, готовила борщ или холодный свекольник, или пельмени, или голубцы. Пекла пироги с мясом, с рыбой. Изобретала настойки, наливки.

Леночка, Лена... круглолицая, кареглазая... веселая певунья, радостная душа.

Даже когда сердилась она, даже когда бранила кого-то, голос ее был протяжно-певучим, и хотелось слушать, словно песню, даже редкую брань ее и беззлобную ругань.



– У тебя не жена – золото, – говорили Пете друзья, хмуро оглядываясь на своих, невзрачных и вредных.

– Хо-хо! – Петя щурил серые глазки и довольно потирал ладони. – У нас с Еленой все построено на железном принципе!.. – И многозначительно подмигивал.

А про себя думал с легкой печалью: все хорошо, жаль, детей нет... И слегка чего-то боялся, побаивался. Что-то предчувствовал недоброе.

И вздрагивал, замирал в сладкой истоме, когда слышал голос жены, доносящийся, например, с балкона:

– Что бы-ыло, то бы-ыло,

Закат догорел.

Сама полюби-ила,

Никто не веле-е-ел!

...И еще, и еще, и весь вечер, без просьб, без ломаний, все пела и пела, заливалась соловьем. Особенно она любила украинские песни, которые пела, закрыв глаза и слегка бледнея, а когда замолкала – словно приходила в себя после долгого обморока, словно просыпалась, и с улыбкой смотрела на Петю.

– Лена... – шептал он, томясь и смакуя сладкое имя ее («Ле-е-ена!..») – тающее, соскальзывающее с языка, словно льдинка.

Конец был таким же внезапным, как и начало. А может быть, эта внезапность явилась такой лишь для Пети, для слепого влюбленного мужа, а прочие трезвые люди, вероятно,

давно уж о чем-то догадывались.

Прошло пять лет супружеской жизни, и Лена стала скучать. Особенно, как ни странно, скучала она дома, не на работе. Томила, слонялась из угла в угол, вздыхала. Однажды, случайно зайдя на кухню, Петя (уже – Петр Степаныч) уловил тихий шепот, не предназначенный для его ушей: «Пусто, пусто... господи, почему так пусто?..»

Пела теперь она редко, только когда мылась, запершись в ванной комнате и лениво любясь на свое тело, матово мерцающее в запотевшем зеркале.

С работы стала приходиться поздно. Объясняла, что задерживается в клубе, в художественной самодеятельности. Петр Степаныч стал сомневаться. Стал потихоньку ревновать.

Однажды он решил встретить Лену после работы. Зашел за ней в ее диспетчерский пункт, что возле речного вокзала.

В тесной комнате было душно, толпились шоферы, кондукторы. Курили, сплетничали, травили анекдоты.

– Добрый вечер, – сказал, входя, Петр Степаныч, и огляделся. – Извините, а где Лена?

– Какая Лена? Ах, Ле-ена... – промямлил диспетчер и отчего-то смутился и опустил глаза. – Лена где-то здесь. А вы подождите... она сейчас.

– Она вернулась с рейса? – спросил, чуя беду, Петр Степаныч.

– Вернулась, вернулась.

– Они же с Пашкой, в автобусе, – вмешался один из шо-

феров.

– С каким Пашкой? – испугался Петр Степаныч.

– Да не слушайте вы его, – сказал диспетчер. – При чем тут Пашка? Сейчас она придет.

– Ладно, – кивнул Петр Степаныч. – А где этот автобус?

– Я же сказал – подождите, она скоро придет! – рассердился диспетчер.

– Автобус за углом, налево, – сказал шофер-информатор, добрая душа.

– Ага. – Петр Степаныч снова кивнул и вышел. Следом за ним вышел и шофер.

– Пошли, я покажу, – сказал шофер, не скрывающий радости от предвкушения скандала. Он подвел Петра Степаныча к стоявшему за углом автобусу.

В автобусе было темно, двери закрыты.

– Там же никого нет... – с острой надеждой и мольбой прошептал Петр Степаныч, косясь на ухмыляющегося шофера.

– Как же, – хмыкнул тот. – Щас я тебе буду кино показывать...

И он вытащил из кармана нейлоновой куртки серебристый китайский фонарик и включил – и направил луч света прямо в окно автобуса.

Первое, что увидел Петр Степаныч – вскинутые белые ноги Лены, обхватившие спину нависшего над ней человека...

– Выключай! – закричал Петр Степаныч и заплакал, и вы-

бил из чужих рук фонарик, и побежал прочь.

Не хочется даже и рассказывать, как и о чем они потом прощально беседовали. Не хочется вспоминать.

Елена ушла. Не хотела уходить, плакала, в ноги падала, жалуясь на «помрачение», руки его целовала. А потом ушла.

Несколько дней Петр Степаныч грустил и томился, привыкая к горькой мысли о крахе семейной жизни. Развода не требовал, а Елене при встрече сказал, что согласен на развод, но пусть она сама хлопочет.

– Зачем мне развод? – сказала она, надеясь на прощение. – Я за другого замуж не собираюсь...

– Дело твое, – буркнул Петр Степаныч. – Дело хозяйское. Потребуется – скажешь.

– Не потребуется, – прошептала она нараспев, вымаливая взглядом карих лживых очей: прости. Смотреть на нее было больно, а голос ее был просто невыносим.

– Пока, – кивнул он, не глядя, и пошел прочь.

Постепенно, день за днем, он стал привыкать к ее отсутствию. Лишь иногда, по ночам, вздрагивал, просыпался – и шарил с просоночной надеждой возле себя... и не находил.

В один из праздников друзья-приятели, как и раньше, в прежние холостяцкие времена, собрались в квартире у Петра Степаныча. Зная о нынешнем его одиночестве, специально пригласили двадцатилетнюю Розу, юную лаборантку с завода препаратов.

Пили, пели, плясали. Во время танца, прижимаясь мяг-

ким животом к Петру Степанычу, Роза лукаво шепнула:

– Я живу далеко, на правом берегу... Вероятно, нет смысла сегодня мне ехать домой? Может, уеду завтра?... Что скажешь, Петя?

– О чем речь, разумеется, – ответил он, целуя ее в кончик вспотевшего носа и продолжая неуклюже танцевать.

Роза была хороша – блондинка с нежной кожей и острыми зубками. Чайная роза. Эмблема печали.

Так, вроде бы, началась новая полоса в жизни Петра Степаныча.

Иногда, забываясь, особенно в полусне, по привычке шептал он: «Ле-е-ена»... – обнимая прильнувшую Розу, и та напрыгала, фыркала, отстранялась от него и кричала злобно, будя соседей:

– Дурак! Тряпка! Опять – ее вспомнил?!

– Э, брось, – добродушно отвечал он. – Не лайся. Это я нечаянно и случайно.

А однажды, идя с работы, он вдруг услышал певучий голос Елены, окликающий его со стороны:

– Петя!

Он резко обернулся – никого не было вокруг.

– Чудеса, – прошептал Петр Степаныч и ускорил шаги, боясь, что оклик повторится. Не повторился.

По вечерам, почти ежедневно, являлась душистая Роза, приносила медицинский спирт, смешивала его с фруктовым сиропом и заставляла Петра Степаныча пить эту гадость. Он

морщился, пил. А потом Роза начинала-продолжала его уговаривать, чтобы он всерьез подумал и ускорил дело с разводом. И женился на ней, на Розе.

– Разве я – плохая женщина? – спрашивала Роза, горделиво выставляя крупную грудь. – Молодая, красивая, здоровая. Я – умная. Я – практичная. И я – верная, в отличие от некоторых. Если изменю – убей.

– Что ты, что ты! – шутливо пугался Петр Степаныч. – Я убивать не умею.

– Знаю, ты слишком мягок, – и Роза продолжала атаку: – Тебе нужна именно такая женщина, как я!

— Да, конечно, — смиренно соглашался он.

– Нет, Петька, без шуток. Ведь тебе тридцать второй год. У тебя плешь скоро будет.

– Где, где? – всерьез пугался Петр Степаныч, хватаясь за ГОЛОВУ.

– Шучу, – и она щелкала его по лбу. – Дурачина ты, простофиля. Еще капризничаешь... Пользуйся моей добротой, пока не поздно.

– Хорошо, женюсь, – кивал он согласно.

И в этот самый миг он вдруг услышал певучий и нежный голос пропащей жены:

– Петя, не на-а-адо! Не делай этого, Пе-етя. Она ж тебя, стерва, сожрет... ми-илый!

– Что?! – Он вскочил со стула, огляделся по сторонам. Кроме него и Розы, никого в комнате не было.

Петр Степаныч выбежал на кухню, заглянул в туалет, ванную комнату – нигде никого.

– Петька, что с тобой? – сердито спросила Роза. – Ты совсем рехнулся?

– Петенька, милый, гони ее прочь!.. – услышал он вновь голос жены.

И он ошалел.

– Убирайся! – закричал и затопал ногами. – Катись к чертовой матери! Вон отсюда! Дрянь!

– Что-о? Ах, вот как! – задыхаясь от гнева, произнесла Роза. – Что ж, спасибо, Петя... спасибо...

Она что-то еще бормотала, что-то невнятное и неприличное. Наконец ушла, непритворно рыдая.

Петр Степаныч стоял, растерянно озираясь.

– Вот и хорошо, – сказал голос жены. – И слава богу, что она ушла. Правда же, Петенька?

– Заткнись! – крикнул он в пространство. – Замолчи!.. Ну, пожалуйста – замолчи...

Эту ночь он почти не спал.

Всё боялся-надеялся-ждал, что снова услышит голос жены.

Прошло много дней. Роза не приходила. Друзья-приятели стали забывать его дом, только изредка забегали – распить бутылочку, занять трешку.

Петр Степаныч стал ленивым и вялым, некрасивым и неряшливым. Прошел всего год после разрыва с женой, а он

постарел лет на десять.

Пропавшая жена на глаза не попадалась, писем не писала, только поздравительные открытки присылала к праздникам – с пожеланиями счастья. И всё. От знакомых он слышал, что живет она у прежней хозяйки, снимает ту же комнату. И еще знакомые сообщали, что есть у нее ребенок, а мужика нет, и никто к ней в гости якобы не ходит. А те, кто приходят, тут же уходят прочь.

– Очень странный образ жизни, – удивлялись знакомые, смущенные нелогичностью ее поведения.

Петр Степаныч не хотел обсуждать образ жизни пропавшей жены и уклонялся от подобных бесед.

Приходя с работы домой, он пил чай, ел колбасу, макая кусок хлеба в банку с баклажанной икрой, или варил картошку. Иногда, не очень часто, выпивал. От водки становилось чуть легче, но много пить ему не хотелось. И голос пропавшей жены предостерегал издалека:

– Не надо пить водку, Петя. Это очень вредно. Петя, милый, пожалуйста, больше сегодня не пей... Хорошо?

– О, черт! – рычал он отчаянно, и плакал, и умолял: – Ну, чего ты хочешь от меня? Отстань, ради бога! Отстань... отвяжись... Но пить прекращал.

Прошло еще полгода.

Как-то вечером, придя с работы, Петр Степаныч наспех поел, покурил и заскучал. «В кино, что ли, сходить? – подумал он. – Или – в театр музкомедии... давно я там не был.



Там в буфете пиво бывает... Сходить, что ли?»

– Не ходи никуда, Петя, – услышал он голос жены. – Лучше книжку хорошую почитай. На улице – мороз, ветер. В такую погоду хороший хозяин собаку во двор не выгонит, а ты – гулять.

– А чего мне дома сидеть? – возразил Петр Степаныч. – С тобой, что ли, разговаривать? И так уж боюсь, что скоро меня в дурдом упрячут...

– Не бойся, не упрячут, – произнес-успокоил голос пропавшей жены. – А хочешь, я тебе спою, как раньше?

– Ну, разговорчики, – хмыкнул он. – Что ж, спой, если не трудно.

Жена вздохнула издалека, откашлялась – и запела чудесную песню, в которой говорилось про тополя, про любовь, про разлуку и про надежду.

Петр Степаныч слушал, почти не дыша, сидя на неприбранной своей постели.

Песня кончилась, чарующий голос умолк.

– Что же ты? – тревожно спросил он. – Что ж замолчала? Пой, пой еще...

– Ми-и-илый, – сказала она, и снова запела, и пела она бесконечно долго, пока он не изнемог слушать, а она – петь.

– Сил моих больше нет, – прошептал, наконец, Петр Степаныч, вставая с постели. – Всё! Я пойду к тебе. Будь что будет. Я хочу к тебе...

– Милый! – радостно сказала она.

Лена растерялась, когда он к ней явился. Было уже поздно. Лена почти не изменилась, только чуть похудела. Пригласила его проходить, предложила сесть, спросила – не хочет ли чаю.

– Нет, не хочу, – отказался Петр Степаныч. – Я по делу.

– По делу? Насчет развода?

– Нет, – сказал он. – Наоборот.

И огляделся. Комната была та же – маленькая, тесная. Он сразу заметил детскую кроватку и лежащего там ребенка. Кажется, это была девочка. Ребенок спал. Лена молчала, следила за ним. Она постепенно успокоилась. Ждала объяснений.

– Это – от того... от Пашки? – спросил Петр Степаныч, кивая на ребенка.

– Ага, – сказала она. – Дочка.

А он сидел и не знал, как объяснить ей свой приход, что сказать и о чем просить. Не мог же он ей рассказывать сказки про голос, истерзавший ему душу. Она не поверит...

– А я думала – ты насчет развода, – сказала Лена, видя, что он все молчит.

– Нет. Я просто так... Проходил мимо, и решил заглянуть, – ничего не придумав, сказал Петр Степаныч, и встал.

– Петя, Петенька, – прошептала она и заплакала, – пожалуйста, посиди еще...

Вот он, вот – ее голос!

Он замер, повернулся, и подошел к ней.

– Что ты делаешь, что ты со мной делаешь?.. – сказал он

тихо. – Ведьма ты, что ли?!

– Бог с тобой, Петя! – И она удивленно всмотрелась в его некрасивое родное лицо. – Разве я похожа на ведьму? Я твоя пропадающая жена... вот я кто. Прости меня, если можешь.

– Нет!.. Это ты меня прости, – возразил он, беря ее руку, и встал перед ней на колени. – Это я виноват... я знаю... Лена, вернись ко мне. Не могу без тебя, Лена.

– Хорошо, – радостно согласилась она, – хорошо, я обязательно вернусь. Но сегодня – поздно, Катя уже спит. Будить жалко. Оставайся здесь?

– Хорошо, – сказал Петр Степаныч. – Как скажешь, Лена. Я люблю тебя.

– И я тебя люблю.

Они не очень походили на пылких любовников, встретившихся после долгой разлуки. Они походили на робких влюбленных.

Наутро, проснувшись, Петр Степаныч обнаружил, что лежит один, на мятой постели. Он очень испугался.

– Лена! – тревожно крикнул он, вскакивая. – Где ты, Лена?

Дверь приоткрылась, и Лена заглянула в комнату.

– Я здесь, – сказала она. – А что случилось?

– Ничего, – смутился он. – Мне показалось, что ты исчезла...

– Вот еще! – удивилась она. – Вставай скорее, завтракать будем.

– Я мигом, мигом! – торопливо сказал Петр Степаныч и засмеялся от счастья.

*1970 г.*

# СЮЗАНЭ С ПАВЛИНАМИ

Каждая женщина хочет быть счастливой. Чем больше хочет, тем меньше удастся. А те, кто ни о чем таком не мечтают и просто порхают беспечно, – у них все выходит само собой, и живут они множество лет, сытые и довольные, не зная вкуса слез. Об удачливых говорить неинтересно – они сами кричат о своем счастье на каждом углу... А впрочем: везучая, невезучая – кто угадает?

В сибирском городе Кырске жила еще не старая старая дева Леля Петренко. Работала медсестрой в городской больнице, жила в новом некрасивом доме, в комнате гостиничного типа, совершенно одна – ни мужа, ни друга, ни папы, ни мамы. Вела себя тихо и скромно, бесцветные глаза привычно опускала, а смелые мужчины смотрели на нее с брезгливым сочувствием.

В апреле ей исполнилось двадцать семь лет, а в мае председатель месткома предложил горящую путевку – в Среднюю Азию. С большой скидкой – всего за тридцать рублей. Леля никогда никуда не ездила и поэтому согласилась. Кстати, происходило все это в стародавние времена, когда Ташкент находился в пределах советской империи, а на рубль еще можно было что-то купить.

В Ташкенте было очень жарко. Леля даже заболела от такой жары. Первые два дня никуда не ходила, только спуска-

лась в ресторан обедать и ужинать, клевала немножко, а потом подымалась, вялая и больная, на свой четвертый этаж, раздевалась и ложилась под горячую простыню. Дверь на балкон была открыта, снизу слышалась ресторанный музыка и доносился противный запах жареного мяса.

Однако на третий день Леле стало полегче, притерпелась к жаре, появился аппетит, потянуло на фрукты. А когда объявили экскурсию на Чирчикскую ГЭС, она поехала тоже, надев свой неношенный светлый брючный костюм.

Ничего особенного – плотина, водохранилище, сухие горы, песок, выгорающая зелень.

Всё осмотрели, сфотографировались на фоне, а потом решили искупаться в реке Чирчик.

Вода была холодной и быстрой. Леля отошла в сторону от группы, стыдливо разделась и села на горячих камнях, робея идти в воду. Но, когда плечам стало больно от палящего солнца, она решилась – и пошла к воде, прихрамывая и покачиваясь, а потом неуклюже взмахнула руками и рухнула в реку, и жалобно ойкнула.

Кто-то засмеялся и крикнул:

– Эй, женщина! Куда спешишь?

Леля обернулась – на берегу, рядом с ее одеждой, сидел незнакомый узбек лет сорока. Он был худой и черный, зубы его сверкали. На стриженной голове лихо красовалась тюбетейка. Пыльные коричневые сапоги были скинуты, рубаха расстегнута. Узбек держал в руке початую бутылку вина.

Леля растерялась, ей было стыдно и страшно, она не могла так просто купаться в присутствии мужчины. Ей хотелось исчезнуть. В смятении Леля и сама не заметила, как зашла далеко в воду и поплыла, хотя плавала плохо.

– Эй, женщина! – крикнул узбек. – Там быстрое течение, утонешь!

И Леля стала тонуть. Казалось, будто кто-то тянет ее за ноги и не дает вырваться. Течение быстрое, вода холодная, а Леля слабая женщина, слабая, слабая, сла...

Очнулась на берегу.

Узбек, спасший ее, был в одних трусах и тубетейке. Он сидел рядом и пил вино «саяки» прямо из горлышка. Увидев, что Леля раскрыла глаза, он засмеялся и подмигнул:

– Очень быстро плаваешь, хотын! Еле догнал.

– Спасибо, – прошептала Леля – и заплакала.

– Йе! – притворно удивился узбек. – Радоваться надо, а ты плачешь... Вставай, пожалуйста. Пошли чай пить.

Он отбросил пустую бутылку, помог ей, дрожащей, одеться, оделся сам – и повел в чайхану. Выбрал место почище, поуютнее, в тени чинары.

– Присаживайся, моя хорошая, – продолжая посмеиваться, сказал узбек и привычно устроился на протертом ковре. – Пей, хотын. Зеленый чай нервы успокаивает. Пей, солнышко, не стесняйся... Как тебя зовут?

– Леля, – прошептала она, беря пиалу трясущимися пальцами. – Леля Петренко...

– Ну-у, понимаешь, чего ты как маленькая? Леля... Первый раз вижу такую несмелую. Русские женщины, понимаешь, нахалки, а ты – как маленькая, честное слово... А ведь большая?

– Большая, – кивнула она, не поднимая глаз. – У меня такой характер. Извините.

– Йе! – И он покачал головой. – Зачем извиняешься, глупая? Пей чай, пожалуйста.

– А вы здешний? – спросила Леля. – На гидроузле работаете, да?

– Йок. Не угадала. Я председатель колхоза «Заветы Ильича». Бо-ольшой начальник! – И он опять рассмеялся, сверкая зубами. – Хлопок выращиваю. Пошли в гости? Тут рядом, пять минут. Вон мой «газик» стоит.

Но Леля отказалась.

А он стал расхваливать свой колхоз, свой дом, а самое главное, самое потрясающее – своих трех жен. Для каждой нашел ласковое словечко. Леля была шокирована.

– Как же это... три жены... разве так можно? – испуганно прошептала она.

– Почему нельзя? Я их не обижаю, они меня любят.

– Но закон...

– Закон есть разный. В паспорте одна жена записана, старшая. А в жизни – три. Думаешь, неправда? – И он строго посмотрел на нее. – Зачем мне тебя обманывать?

– Но как же так... – Леля совсем растерялась. – Тем более,



вы – председатель колхоза...

– Тем более! – насмешливо повторил узбек. – Вот именно, глупая – тем более.

– Это же... нехорошо.

– Йе! Почему нехорошо? Очень хорошо! Одна жена – плохо, две жены – лучше, три жены – хорошо. Якши. Понимаешь?

– Вы смеетесь... вы меня просто дразните, – обиделась Леля.

– Почему не веришь? Приезжай в колхоз – познакомлю со всеми женами. Нам очень хорошо, честное слово. Дружные женщины. Подружки, понимаешь?

– Н-не понимаю...

– Эх, какая ты. Ну, подумай – кому это плохо? А? Мне плохо? Нет. Им плохо? Нет, им хорошо, я их не обижаю. Колхозу плохо? Нет, мы план перевыполняем, переходящее знамя района три года держим, никому не отдаем. Понимаешь? Леля сделала жалобное лицо, промолчала, вздохнула.

– Как вас зовут? – запоздало спросила она.

– Камиль. Меня зовут Камиль. Уже сорок два года – Камиль. Ты на меня сердишься, да?

– Нет, но мне как-то странно... все-таки, это нехорошо. Ведь за многоженство могут наказать?

– Ой, напугала! – всплеснул он руками. – Ой, бедный я, несчастный я преступник... Как это по-русски? Ага – сквозь пальцы! Слышишь меня? Все смотрят на это сквозь пальцы.

– Все равно – нехорошо. Не по-советски...

– Послушай, – сказал Камиль без улыбки, но глаза его смеялись. – Послушай и подумай. Мать любит своих детей, правда? У моей матери нас было одиннадцать – и она всех любила одинаково, ты слышишь? А у меня – всего три жены. Так разве не хватит моего большого сердца и на четвертую? А? – И Камиль захохотал, и от радости даже опрокинул пузатый фарфоровый чайник.

– Это унижительно... для женщины... – промямлила Леля. Она боялась постигать такие ужасные порядки.

У Лели был детский ум, думать она почти не умела, и все ее редкие мысли возникали в форме картинок. У обычных людей в голове мысли, а у Лели – картинки. Иными словами, она была почти дурочка. Однако, несмотря на свою простоту, Леля долго сомневалась и не верила многоженцу Камиллю. А он слишком уж складно расписывал ей преступную свою жизнь, заговаривал зубы, бескорыстно потешаясь и ничего не желая добиться. Хотя насчет трех жен – чистая правда. Не врал.

– Э-э, однако, уже поздно, – сказал, наконец, Камиль, взглянув на часы. – Мне пора.

Он ловко-упруго вскочил, поиграл плечами, поправил тюбетейку на стриженной голове, подмигнул Леле лукаво и пошел прочь, чуть покачиваясь на кривоватых ногах.

Когда Камиль ушел, Леля долго и невнятно о нем думала. И потом, в автобусе, думала, и вечером думала, и ночью

просыпалась и думала. То есть не думала, а просто – видела одну и ту же пугающую и заманчивую картинку: худой черный Камиль в тюбетейке, стоит, покачиваясь на кривых ногах, скалит белые зубы и беззвучно и бесконечно хохочет.

На другой день, после ужина, Леля вышла к фонтану. Она была в странно-возбужденном состоянии. Желтую кофту зачем-то надела, с каким-то бессознательным наивным расчетом. Присела на скамейку и стала смотреть на подсвеченную воду в бассейне. Подошел Камиль и сказал:

– Салям алейкум, Леля.

Она вздрогнула, испугалась и не смогла ничего ответить. Камиль был по-городскому принаряжен – в светлых брюках, розовой рубашке.

– Совсем не рада? – спросил он, упруго присаживаясь возле нее. – Не пугайся, глупая. Я в Ташкент по делам приезжал... Иду мимо, вижу – ты сидишь, скучаешь. Не сердись, пожалуйста.

Леля молчала, приходила в себя.

Ей было и страшно, и хорошо. Ничего не могла понять. Камиль что-то говорил, шутил, подшучивал, а она ничего не слышала, не видела, не думала. Он как бы между прочим пригласил зайти в ресторан. Она не хотела, стеснялась, отказывалась, но Камиль уговорил.

Сели за неудачный столик – рядом с оркестром. Было очень шумно. Камиль заказал бутылку шампанского, двести граммов коньяка, фрукты.

– Зачем все это? – сказала бессмысленно Леля, когда оркестр ненадолго умолк.

– О чем ты? Не понимаю... – Камиль пожал плечами. – У меня, хотын, сегодня большая радость. Достал для колхоза три новых пресси. Хлопок давить – понимаешь?

Он разлил в бокалы шампанское. Лелю никто еще не угощал шампанским – и она решила попробовать.

– За вашу удачу, – сказала она и выпила почти полный бокал. – Ой, как вкусно! Я и не знала...

– Пить всегда вкусно, – подтвердил Камиль, кивая, и налил себе коньяку. – Понимаешь, хотын...

– Нет-нет-нет, вы мне вот что объясните, – перебила Леля, – вы зачем мне голову морочите? Прессы какие-то придумал... Зачем обманываешь? – И она погрозила ему пальцем.

Камиль удивился, но тут же понял, что Леля просто опьянела.

– Я не обманывал, – сказал он. – Я доставал прессы. Клянусь аллахом и третьим, решающим годом девятой пятилетки.

– У, какой противный, – капризно протянула Леля. – Ужасно противный Камиль. Налей мне еще шампанского!

– Пожалуйста. Пей, солнышко. Давай выпьем за здоровье твоего мужа... Как его зовут?

– У меня нет мужа, – и она хихикнула и опять погрозила

пальцем. – У-у, противный.

– И не было?

– Не было...

– Ну, а жених есть?

– Нет. У меня никого нет, – тихо сказала Леля, и вдруг всхлипнула: – У меня совсем-совсем никого нет!.. У всех кто-то есть, а у меня – никого! Я одна, понимаешь? Меня никто не любит! Я старая дева!

– Что ты, джаным, что ты? – ласково погладил он ее по плечу. – Не надо так... Успокойся, пожалуйста.

– Меня никто не любит! Я дурочка! Меня так все и зовут: Леля-дурочка... Я же знаю!

– Эй, зачем ты так? Зачем себя обижаешь? Почему – дурочка? Это неправда, ты хорошая, честное слово. Симпатичная... и совсем неглупая...

– Спасибо, спасибо, спасибо, – забормотала она. – Слушай, Камиль... женись на мне!

– Эй, женщина... что ты говоришь?! – испугался он. – Как я могу на тебе жениться? У меня есть три жены.

Леля залпом выпила второй бокал шампанского, отдышалась.

– Я буду четвертой, – сказала она. – Слышишь? Я буду твоей четвертой женой.

– Ты совсем пьяная, – нахмурился Камиль. – Не пей больше – пожалуйста.

Леля заплакала.

А он смотрел на нее и удивлялся – таких глупых женщин он никогда еще не встречал. Он уже пожалел, что пригласил ее в ресторан, и подумал о том, как бы теперь отвязаться.

– Значит, не хочешь? – спросила она, всхлипывая. – Не хочешь, чтобы я стала твоей четвертой женой?

– Это не так просто, – медленно сказал Камиль, – это очень непросто... – И вдруг он придумал: – Слушай! Я согласен! Но к свадьбе ты должна соткать сюзанэ...

– Что? Сю... су...

– Ну, это такой ковер... называется – сюзанэ. Понимаешь? Вытки по шелку цветной узор – двух красивых павлинов. Это будет твой калым... Ага? И тогда я женюсь на тебе. Согласна?

– Согласна! – закричала она так громко, что играющие музыканты на нее покосились. – Конечно, согласна! Когда я была маленькая, мама учила меня вышивать – гладью, мережкой, болгарским крестом... А ты – как хочешь?

– Не знаю, – и Камиль слегка раздраженно пожал плечами. – Ты уж сама должна справиться. Сделаешь сюзанэ с павлинами – будешь моей женой.

И он с трудом подавил зевок.

– Я сделаю, сделаю! – Леля захлопала в ладоши. – Обязательно сделаю... А ты не обманешь?

– Обижаешь, Леля. Слово джигита.

– Ха-ха-ха! – засмеялась она. – Слово джигита... как смешно! Ну, значит, договорились. Я сотку тебе эту, как ее?..

Сю... су...

– Сюзанэ.

– Вот-вот. Сделаю. Давай, выпьем еще!

– Йок, – отказался Камиль. – Больше не надо. Пошли.

Ему хотелось поскорее расстаться с глупой женщиной. Ох, тяжело на нее смотреть, горько слышать ее восторженный голос...

А Леля вскоре уехала в Кырск. Камиль, говоря о женьтибе, разумеется, был уверен, что Леля протрезвеет и не вспомнит о его обещании – не поверит же она всерьез в эту сказку про сюзанэ... А ведь она – поверила.

Поверила и думала с тех пор только об этом. То есть не думала, а постоянно видела такую картину: блестящий черный ковер с золотыми и красными цветами, а в центре – два роскошных павлина с распущенными хвостами.

Несколько дней Леля занималась тем, что бегала по магазинам и покупала шелковые ткани и разноцветные нитки. Ходила в библиотеку, перелистывала альбомы и монографии, искала подходящие орнаменты. Достала старинную книгу, в которой описывалась сложная ковровая технология. Наконец, заказала маленький ткацкий станок. Потратила уйму денег, влезла в долги. Когда все необходимое было готово, Леля принялась за работу. Ткать было трудно, станок часто ломался, нитки рвались. За первые два месяца она почти ничего не успела сделать. Но потом наловчилась, набил руку, и работа пошла быстрее. Всю зиму Леля ткала сюза-

нэ. Приходя с дежурства, сразу садилась за станок и просиживала до глубокой ночи, пока не засыпала за работой. Ткала терпеливо и вдохновенно, торопясь и томясь в ожидании блаженного дня окончания великой работы.

К весне все было сделано. Леля никому не показывала сюзанэ. Она взяла отпуск без содержания и поехала в Ташкент. Разыскала тот самый колхоз, председателем которого был Камиль.

Когда Леля зашла в правление и спросила, где председатель, какой-то старик на деревянной ноге ей ответил:

– Я председатель. Салям алейкум.

– Салям... – начиная пугаться, сказала она и воскликнула: – А где же Камиль? Разве не он председатель?

– О-хо-хо, – старик горестно покачал головой. – Не говори об этом человеке, хотын... Ты ранишь мое сердце.

– Что случилось? – бледнея, прошептала она и схватила старика за полы халата. – Что с ним случилось?

– Эй, женщина, ты порвешь мой новый чапан!

– Извините... Что с ним? Он жив?

– Разве я сказал, что он умер? Жив, не пугайся. Камиль сидит в тюрьме, моя хорошая. Он жив.

И старик стал подробно и не спеша рассказывать ей о том, что Камиль поссорился с районным начальством, «зазнался», кого-то обидел, кому-то чего-то не дал, или дал мало... короче, его решили наказать и для этого вспомнили, что он – многоженец. Соответствующая статья в уголовном кодексе



была и осталась, в прокуратуру поступило анонимное заявление с конкретными доказательствами и упоминанием всех адресов и фамилий. Так сгорел председатель колхоза «Заветы Ильича» Камиль.

– Где же он сейчас? – тоскуя, спросила Леля.

– А разве я тебе не сказал? В тюрьме, в камере предварительного заключения, – ответил старик и после паузы уточнил адрес.

Леля сидела на узкой жесткой скамье, прижавшись спиной к холодной стене и крепко держа на коленях большой рулон, обмотанный шпагатом.

В этой же слабоосвещенной комнате, на другой скамье, сидели три женщины в черных платках. Они с ненавистью смотрели на Лелю. Они сразу обо всем догадались. Три жены Камиля – они твердо решили, что Леля – дрянь, русская шлюха, подлая потаскуха. Они бы хотели выцарапать ей глаза, вырвать волосы, осрамить ее как-нибудь, оскорбить, обидеть. Однако – терпели. Они сидели дружно и плотно, как три сестры. Дверь распахнулась, вошел надзиратель, а следом за ним – Камиль. Он скользнул взглядом по Леле, не узнал ее, потом подошел к своим женам. А жены торопливо, перебивая друг друга, что-то лопотали-бормотали-выкрикивали. Он им лениво отвечал. Он был очень скучный, Камиль. Леля не заметила следов страдания на его лице – ни тоски, ни обиды, – одна скука. Разговаривали они по-узбекски, и Леля ничего не понимала. Она терпеливо ждала. Наконец надзи-

ратель тронул Камиля за плечо:

– Эй, милоч, к тебе еще одна баба. Поторопись.

Надзиратель был русский, но говорил с акцентом.

– Кто эта женщина? – вяло удивился Камиль, посмотрев на Лелю.

Не узнал. Не узнал.

– Ты ему кто? – обратился надзиратель к Леле.

– Я... мы... Камиль, ты меня совсем не помнишь? – тоскливо прошептала она.

– Йок, – раздраженно сказал Камиль. – Для меня все русские женщины – на одно лицо.

– Как же так! – воскликнула Леля. – Ты обещал на мне жениться. Помнишь? Слово джигита – помнишь?

– Джаляб! – выругался Камиль, и лицо его с кривилось от злости. – Надзиратель, уведи меня в камеру.

– Подожди, Камиль, – и Леля подошла к нему, и протянула громоздкий рулон. – Посмотри. Это я сделала для тебя. Как договаривались. Сюзанэ с павлинами.

– Эй, женщина, ты сошла с ума, – сквозь зубы пробормотал Камиль, пятясь и оглядываясь на надзирателя. – Дивона!.. Три жены переглянулись и глухо заворчали.

– Камиль! – звонко сказала Леля, задыхаясь от сердечной боли. – Ты только взгляни, что я тебе принесла!

Она порвала зубами шпагат – и развернула рулон. И, не отрываясь, смотрела в лицо обманщика, и крепко держала на поднятых руках прекрасное сюзанэ.

Камиль молчал. И три жены молчали. И надзиратель молчал. В комнате было сумрачно, и сказочные павлины на фоне золотых и красных цветов казались живыми. Роскошный хвост одного павлина, сидевшего внизу, был раскинут и пылал перламутровым костром, а другой – взлетал ввысь, начав распахивать черно-зеленые крылья. По всему ковру были раскиданы серебряные звезды, упавшие с неба, а к ярким цветам страшно было прикоснуться – могли обжечь.

Леля продолжала держать сюзанэ и всё так же пристально и тревожно следила за лицом Камиля. Сердечная боль ослабла, потому что Леля поняла – он вспомнил, узнал.

– Это – мне? – тихо спросил Камиль.

– Конечно, – улыбаясь, сказала она. – Как договаривались. Он протянул руку и осторожно коснулся кончиками дрожащих пальцев шелковой узорной поверхности.

– Это сделала ты? – спросил он, с каким-то страхом глядя на Лелю.

– Да. Для тебя.

Камиль покачал головой, вяло прошептал «рахмат», и долго вглядывался в ее лицо и не мог ничего разглядеть, а потом повернулся и пошел прочь, косолапо покачиваясь. Но возле двери остановился и сказал, не оборачиваясь:

– Ты меня убила, слышишь?

– Я люблю тебя! Я люблю, и поэтому так старалась! – выкрикнула Леля.

– Я хочу умереть, – сказал Камиль.

Стоял и не оборачивался, и не уходил.

А Леля держала свой подарок. И ждала, когда Камиль обернется.

– Я хочу умереть, умереть, – повторил Камиль.

– Ты вот что... – буркнул надзиратель. – Ты это... зна-чит... брось ваньку валять!

Камиль обернулся и посмотрел на всех.

– Слушайте, вы, пустые люди! – громко сказал он. – Эй, вы, бестолковые! Моя первая жена, моя вторая жена, моя третья жена... Вы только и можете – стирать белье, нянчить детишек и чесать свои длинные языки с соседками! А ты, гражданин надзиратель, только и можешь – греметь ключами и звонко стучать подковами. А эта женщина, эта женщина... эта женщина... – И он вдруг заплакал, и резко вытер узкие глаза тылом ладони, а потом закричал, вскинув руки: – Эта женщина – единственная моя жена! Вы все – прочь! А ты, Леля... слушай, джаным, слушай, мое сокровище. Не ты меня, я тебя буду любить, слышишь, Леля? Ты только, пожалуйста, дождись, когда я выйду...

– Я дождусь, – быстро сказала она.

– Пока еще рано, пока следствие... понимаешь? – сказал Камиль. – Скоро суд... Может, простят? Нет, не простят, конечно. Еще устроят показательный процесс, вот увидишь... Но ты меня дождись, пожалуйста!

– Конечно, конечно.

Камиль схватил ее за плечи и притянул к себе. Сюзанэ

выскользнуло из ее рук, упало на цементный пол.

– Ну, вы это... кончайте ваньку валять! – сказал смущенный надзиратель.

– Леля, девочка! – торопливо говорил Камиль, охваченный любовным восторгом. – Пожалуйста, пусть всегда так будет! Если разлюбишь – подохну как собака. Слышишь, джаным, буду молиться на тебя, на руках буду носить... Эх, свадьбу сыграем, Леля!

– Да, да, обязательно, – кивала она и гладила, гладила его стриженую голову.

– Неделю будем гулять! Нет, айнаным, две недели! – выкрикивал Камиль. – Костры во дворе будем жечь, как положено, Леля, и трубы будут играть, Леля, Леля, и барабаны всю ночь будут бить, чтобы соседи не спали и слышали... Леля, солнце мое!

– Да, мой хороший, все, как ты захочешь.

– Нет – как ты! Как ты!..

Чем все кончилось – мне неизвестно.

А если кто-нибудь скажет, что эта история выдумана и быть такого не может, – я ничего не отвечу.

Сказка, миф, пустая легенда, сентиментальная сплетня? – Ну и пусть. Я и сам во многом сомневаюсь, и знаю, что люди бывают разные – добрые и злые, умные и глупые, и зло чаще побеждает, и эгоизм правит миром... Но я верю, что есть любовь, и она прекрасна, хотя, быть может, любовь не более реальна, чем туман над рекой...

Вот я тут сижу, пишу, печатаю, придумываю всякие чудесные истории про чужое счастье... а в это самое время, быть может, кто-то далекий и ненаглядный ткёт для меня сюзанэ. Не уверенность, не надежда, а одна лишь мечта об этом – успокаивает мое робкое сердце.

*1973 г.*

# КРУИЗ

Я, как и многие, с юных лет мечтал перебраться в Москву. Родился и всю жизнь прожил в Кырске – а рвался в столицу, пытался пробиться туда всеми путями-лазейками. С обменом ничего не получилось, желающих не нашлось, да и Моссовет не давал разрешения. Перевестись по служебной линии было абсолютно невозможно, и перспектив – никаких... А ведь я в свое время специально, с дальним прицелом, с тайной надеждой, поступил в Московский геологоразведочный институт и закончил его с отличием, рассчитывая на аспирантуру и службу в Москве. Ничего не вышло, распределили в Кырск. Временно смирившись, но не сдавшись, я копил потихоньку деньги и не спешил жениться. Жена могла бы сорвать все планы, а деньги – они понадобятся при первом же подвернувшемся варианте.

Так и случилось.

А случилось все это в конце восьмидесятых. Я как раз был в очередном отпуске, провел три недели в Сочи и на обратном пути заехал в Москву. Лев Ароныч, подпольный маклер, предложил мне соблазнительный вариант: фиктивный брак. «Только таким путем, дорогой Андрюша, – сказал он задумчиво, – вы сможете получить московскую прописку». Я подумал, подумал (рискованно, все-таки) – и, наконец, согласился. Сколько ж можно тянуть? Ладно, говорю, попробую.

Как хоть ее зовут-то?

Невесту звали Зина.

Договорились по телефону встретиться на Тверском бульваре, на третьей скамейке справа (это если стать спиной к памятнику Пушкину). Приближаясь к назначенному месту, я слегка опасался увидеть вульгарное лицо, яркую помаду, кошмарный парик. Оказалось – наоборот: девушка выглядела строгой и скромной. Короткая прическа, почти бесцветная помада, глаза чуть подведены еле заметным гримом, плотно сжатые узкие губы, бледное худое лицо. Темный костюм, черная сумка на плече. Не очень длинные и не очень яркие ногти. Не улыбается. Простая такая, не очень даже и деловая, вроде вполне приличная такая девушка. На вид. И, самое главное, не красotka. Этого я больше всего боялся. Если б оказалась красotka – я тут же ушел бы, ей-богу. А с простым невзрачным человеком – и разговаривать проще.

Поздоровался, сел рядом. Познакомились: Андрей Петрович, Зина, очень приятно, ну и так далее.

– Вы, – говорю, – в курсе моих интересов?

– Да, – отвечает, – Лев Аронич рассказывал... в общих чертах. Я согласна.

– Может, зайдем куда-нибудь в кафе? – предлагаю. – Здесь так шумно. Посидим, обговорим все спокойно – за чашечкой кофе, за рюмочкой сухого винца... Как вы на это смотрите?

– Нет, нет, ни в коем случае, – возражает почти сердито и встает. – Давайте просто пройдемся по бульвару.



Что ж, идем по бульвару, прогуливаемся не спеша. А вокруг – детишки, мамы, бабушки, собачки разные.

– Прежде чем вдаваться в подробности, – начинаю переговоры, – хотелось бы услышать главное: сколько я буду должен?

– Три тысячи, – говорит, не глядя.

– Ого, сумма приличная, – притворяюсь удивленным, хотя сам готов и на большее. – Три тыщи... не много ли, Зина?

– Нет, не много, – быстро сказала она, почти не разжимая узких губ. – Я со Львом Ароничем советовалась. Тыщу сразу, тыщу – после загса, тыщу – после того, как пропишетесь.

– А потом?

– А потом развод. Но это, конечно, не сразу. Да вы не волнуйтесь, придет время – я сама напомню.

– Ясно, – кивнул я, – ясненько. Ну, а где гарантии?

– Какие гарантии? – удивилась она. – В каком это смысле?

– Ну... вдруг вы меня подведете?

– Странно, – сказала она, сердясь и бледнея. – Вас, по моему, никто насильно не заставляет... Или вам не нужна московская прописка?

– Все правильно, извините, – быстро сказал я, беря ее под руку. – Пожалуйста, не сердитесь. Я пошутил.

– У меня нет охоты шутить, – сказала Зина, вырывая руку. – И нежности ваши совсем ни к чему.

– Ну, как же! – рассмеялся я не очень естественно. – Все-таки, мы – жених с невестой...

– Нет, – отрезала она, внезапно останавливаясь, и посмотрела мне в глаза пристально, не мигая. – Не смейте так говорить. Мы не жених с невестой.

– Фу ты, господи, – растерялся я. – Да что ж вы такая серьезная-то, в самом деле? А, Зина? Уж и пошутить нельзя...

– Нельзя, – четко сказала она, почти не разжимая тонких губ. – Мне такие шутки не нравятся.

На другой же день мы подали заявление в загс, и я вручил Зине тыщу рублей. Первый взнос.

Предложил ей хоть как-то отметить «событие», она отказалась. Через день я улетел в Кырск, а через месяц, когда прошел положенный срок, взял отпуск на несколько дней без содержания («Еду жениться, друзья!...») – и снова подался в Москву.

И вот мы с невестой Зиной опять идем в загс, регистрируемся, замираем в торжественной паузе под свадебный марш Мендельсона, только что кольцами не обмениваемся и не целуемся (я, правда, в шутку хотел, потянулся к ее узким губам, но Зина с такой злобой на меня посмотрела, что я сразу же передумал, одумался).

Из загса поехали к ней. Уютное однокомнатное гнездышко в новом доме, в новом микрорайоне. Я все-таки, как ни противилась молодая жена, купил шампанского и коньяку – выставил на стол.

– Зря старались, – сказала Зина. – Гоните денежки – и топайте отсюда.

– Ну-у, Зиночка... зачем так грубо? – И я уговорил ее выпить по бокалу хотя бы шампанского. – Не в женитьбе суть, чудачка. Мы с тобой – деловые люди. Вот и выпьем за удачное завершение дела. Обмоем, так сказать.

Поморщилась, скривилась... выпила.

А потом – оживилась слегка, подобрела. Особенно, когда я ей положенную тыщу рублей вручил – под звон бокалов. Даже развеселилась, разругмянилась. Глазки заблестели.

– И что это вас так уж в Москву потянуло? – спрашивает. – Что в ней хорошего, в Москве-то?

– А что в ней плохого? – говорю. – Столица нашей Родины. Лучший город Земли. Я всю жизнь о Москве мечтал.

– Значит, сбылась мечта?

– Значит, сбылась. Выпьем. Выпьем за наше счастье, – говорю и, смеясь, добавляю: – Горько! Горько! Го-о-орько!..

И тут она так рассердилась – даже шампанским захлебнулась, закашлялась. Заикаться от волнения стала.

– Вы, вы, вы, – говорит, – вы это бросьте! Прекратите свои глупые шуточки. Бизнес есть бизнес. А брак есть брак. И глумиться над святыми вещами я не позволю...

– Чего-чего? – перебил я и тоже обозлился, даже пить расхотелось. – О каких таких святых вещах ты лопочешь, Зина? Не тебе говорить об этом. Две тыщи приняла, не моргнула, а тоже – туда же...

– Ну и что? – восклицает она, покрываясь красными пятнами. – Бизнес есть бизнес. А любовь есть любовь.

«Баба есть баба», – подумал я быстро, но спорить не стал.  
– Ладно, – говорю, – успокойся, Зинаида. Никто тебя не заставляет со мной целоваться. Но нельзя ж быть такой занудой. Шуток совсем не понимаешь.

– Есть вещи, которыми не шутят, – сказала она, постепенно успокаиваясь.

А меня злость взяла. Ах ты, думаю, моралистка проклятая. Ах ты, недотрога... Дездемона, Офелия... С таким ханжеством я еще никогда не сталкивался. Ну, думаю, сама напросилась. Вот назло – допеку я тебя. На части разберу – и соберу заново. Уши вянут – слушать такие пошлости. «Любовь есть любовь»... Ах ты, штучка-дрючка... Ну, ты у меня попляшешь, Зиночка, ты у меня поплачешь.

И стал я действовать тихой сапой – прикинулся скромным таким, застенчивым, загрустил якобы, задумался, пригорюнился. Она, разумеется, клюнула – и тоже расслабилась, выпила еще бокальчик и совсем раскисла, расклеилась, и стала мне о жизни своей рассказывать. Она, мол, такая-сякая несчастная, и судьба у нее, разумеется, распроклятая, и любовь у нее, ну конечно же, была роковая, а он, ее первый-единственный, ну конечно, конечно же, оказался большой негодяй, дон-жуан, проходимей смазливый, разумеется, бросил ее, простодушную девочку, бросил и куда-то исчез, а она все не может придти в себя, вот уж пять или десять... или пятнадцать? – не помню – лет, и все томится одна и страдает. Но самое смешное, во что я, несмотря на весь свой скепсис,

поверил: она до сих пор (это в ее-то тридцать с хвостиком!) мечтает о настоящей любви... Парадокс.

И как это в ней сочетается? Этаким авантюрный практицизм – и чистая вера в «святые вещи», над которыми «нельзя смеяться»... Как может подобная смесь уживаться в маленькой женской головке? А вот так. Как всегда, как обычно.

...Незаметно я сам опьянел, подсел к ней ближе – и стал нашептывать что-то на ухо, какую-то чушь, какие-то сентиментальные глупости... И вот уж она сомлела, не отталкивает, слушает, и, быть может, не верит моим словам, скорее всего – не верит, конечно – не верит, но – слушает, слушает, жадно ловит каждое слово, потому что есть такие слова, которым никто никогда не верит, но уж очень приятно их слушать, и хочется слушать и слушать, а верить совсем не обязательно...

– Ах, Зиночка, – бормочу, обнимая ее, играя темно-крашеными короткими прядями, – ах, глупышка, ах, бизнесменочка ты моя целомудренная... Зачем же ты взялась за такую аферу? Это ведь очень безнравственно – фиктивный брак.

– Бизнес есть бизнес, – с трудом прошепелявила пьяная Зина. – И, пожалуйста, не трогай меня... а ну, пусти.

– Да ладно тебе, – и я обнял ее крепче, и Зина затрепетала как семиклассница. – Сиди уж, Зинуль... А зачем тебе столько денег-то? Куда тебе три тыщи-то? А?

– Значит, надо, – пробормотала она хриловато, – и не твое это дело...

– А все-таки?

– Я поеду в круиз, – сказала, откашлявшись, Зина, – я поеду на теплоходе вокруг Европы, я увижу много памятников культуры, я буду допоздна бродить по набережной Сены и рыться в лавках парижских букинистов... Я увижу Везувий, Неаполитанский залив...

– ...и небо в алмазах! – подсказал я быстро. – В Неаполитанском заливе ты обязательно увидишь небо в алмазах. И каждый алмаз будет стоять ровно три тыщи...

– Ну, что ты болтаешь! – притворно рассердилась она. – Болтунишка несчастный...

– А ты – лягушка-путешественница, – и я засмеялся, и поцеловал ее. – Ишь чего, в Европу ей захотелось!

– Что ж ты делаешь, негодяй, что ж ты делаешь... – не сопротивляясь, бормотала она. – Для тебя, негодяй, нет совсем-совсем ничего святого!..

Вернувшись в Кырск, я быстро провернул операцию с продажей своей кооперативной квартиры – и остался в выигрыше. Все складывалось очень удачно.

В Москве у меня уже была предварительная договоренность насчет работы. Уволился с прежнего места, оформил все документы, собрал барахлишко – и прощай, Кырск. Прощай навеки.

Вот я снова в Москве, у молодой жены. Вскоре прописался в ее квартире – и в тот же день вручил Зине последнюю тыщу. Ну, кажется, всё. Самое страшное позади. Теперь можно

и о будущем подумать. Деньги, слава богу, еще имеются. Надо будет со Львом Аронычем посоветоваться – насчет вступления в кооператив... Ох, много еще забот впереди.

Зина аккуратно пересчитала купюры, поджала узкие губы, сказала: «Всё правильно», и, не глядя на меня, завела косноязычную речь о том, что, мол, надо выдержать энное время, не суетиться, и лишь потом, погода, когда она сама мне скажет – лишь тогда можно будет подавать заявление на развод.

– А может, не будем? – пошутил я лукаво.

– Что – не будем? – насторожилась она.

– Ну-у... может, не будем разводиться?

И тут она вдруг так побледнела, что я испугался – не упала бы в обморок.

– Ты... это... серьезно? – прошептала Зина, глядя застывшими глазами. – Или – шутишь?

И тут я всё понял («Ах, черт!...»).

– Что ты, Зина! – сказал я быстро. – Конечно же, я пошутил. Конечно же, все будет как договаривались. Разумеется – развод.

– Да?... Ну, смотри... а то, если хочешь... – И она замолчала, и отвернулась, и закрыла лицо руками.

– Зина! – воскликнул я. – Что с тобой, Зина? Что случилось, Зинуль?

Хотя понял прекрасно – что именно случилось.

– Не волнуйся... ничего... все в порядке... – шептала она, не оборачиваясь. – Просто я к тебе немножко привыкла...

привязалась немножко...

– Ох, Зина, нельзя же так.

– Я знаю, знаю, – сказала она, кивая. – Я знаю, что так нельзя. Но кто мог угадать, что я к тебе так... привыкну?..

Мне стало страшновато.

– Вот это уж совсем ни к чему, – постарался сказать я как можно строже. – Это лишнее. Мы так не договаривались. Это все твои пустые фантазии, Зина. Надо тебе, Зинаида, познакомиться с хорошим парнем... Ты вот что! – лучше не едь ни в какой круиз, а купи себе хорошего жениха за три тыщи...

– Как... как ты можешь?! – ужаснулась она. – Как ты мог такое сказать?..

– Шучу, шучу, – и я обнял ее, а она затряслась, заплакала.

– Эх, Зина, Зина... Плохой ты бизнесмен, Зина... Кто же так делает дела?

– Я люблю тебя, – простонала она, повисая на мне и захлебываясь от бурного плача, – я люблю тебя... Я хочу умереть!.. Я жить не смогу без тебя!..

– Перестань! – Я с трудом оторвал ее от себя. – Успокойся. Так мы не договаривались.

И вдруг я подумал: а уж не хитрит ли она? Не хочет ли она меня элементарно заарканить?.. «Бог ты мой, – ужаснулся я, холодея от внезапной догадки. – Так ведь она планирует сразу двух зайцев убить: и в круиз вокруг Европы на мои денежки съездить, и меня на себе женить... Ну, баба!»



Я со страхом посмотрел на плачущую Зину. Она сидела на краешке стула, опустив голову, и слезы все капали, капали на блестящий паркетный пол.

– Кончай хныкать, – сказал я сердито. – Я тебя раскусил. Твои планы мне очень понятны, Зинуль... Только ничего у тебя не получится, ясно? Ясно тебе? – Я схватил ее за поникшие плечи, встряхнул, но она все плакала, и тогда я грубо поднял за подбородок ее мокрое лицо – и сказал ей в упор: – Ты слышишь, подлая интриганка? Ничего у тебя не получится. Все будет, как раньше договаривались. Жить с тобой я не собираюсь, и не мечтай. Сам подам на развод. Или, может, трех тысяч тебе мало?.. Мало? Ну?! Мало, да?..

– Господи... – прошептала она, не открывая глаз, – господи... убей меня лучше, чем так мучить... убей меня, очень тебя прошу!

– Не кривляйся, – брезгливо фыркнул я и посмотрел на часы. – Ладно, хватит на сегодня. Грош цена твоим фокусам, Зина. Грош цена. За двумя зайцами погналась, голубушка... Впрочем, сейчас уже поздно. Я лягу в кухне, на раскладушке. Ясно?.. Бизнес есть бизнес, не так ли? Не се па, мадам?

Зина ничего не ответила.

А утром, когда я проснулся, Зины дома не оказалось. На кухонном столе лежала записка: «Ничего не бойся, меня не ищи, не найдешь. Деньги в серванте. Записку сожги. Зина».

Я бросился к серванту, выдвинул ящик – там лежала толстая пачка денег. Быстро пересчитал: три тысячи. Что за

черт?! Ничего не понимаю...

Я распахнул дверцы шкафа – все платья висели на прежних местах. И вообще все вещи – не тронуты. Я тщательно проверил – она даже чемодана с собой не взяла. Все было как прежде – только Зина куда-то исчезла. Я ждал ее весь день и всю ночь, но она не пришла. Наутро я отправился в контору, где Зина работала машинисткой – но и там ее не оказалось.

Тогда я позвонил Льву Ароничу – но и он не мог ничего сказать.

– Хотя, постойте, – спохватился Лев Аронич. – Я тут вспомнил – она все мечтала уехать в круиз, по Средиземному морю... Может, достала горящую путевку, да и уехала?

– Нет, – возразил я, – не могла она просто так уехать.

– Почему вы в этом уверены?

Но я бросил трубку. Не стану ж я ему говорить, что Зина оставила мне все деньги. И про записку я, разумеется, никому ничего не сказал. Сжег записку. Как просила Зина, так и сделал: сжег. Ну, ладно, думаю, погуляет, покапризничает, перебесится – и вернется. Куда ж она денется – у нее и родных-то нигде никого нет... Сама рассказывала. Вот как вылетит дурь из башки – так и вернется.

И чего это я буду о ней волноваться? Разве я в чем-нибудь виноват?

Я ведь делал все как договаривались – выплатил до копейки. И зачем она мне эти деньги оставила? И куда она сама-то делась? И что с ней? А вдруг что случилось?

А вдруг она?.. О-о-о... – я подумал о самом страшном. И как только я об этом подумал – мне сразу стало так жалко ее, так жалко... Что ж вы хотите – жена все-таки... нет, серьезно... Хоть и фиктивная, хоть и временная, хоть липовая... но ведь жена! Как так можно! Разве можно так исчезать? – Это свинство с ее стороны, это просто нечестно.

Ведь я-то все делал по-честному, аккуратно, как договаривались. А она?.. Зачем эти дурацкие фокусы? Ну где вот мне теперь ее искать? Куда обратиться за помощью?.. Кто подскажет? Кто?

Нет, я серьезно.

И вот уже много лет прошло, и куда я только не обращался, на все инстанции заявления подавал... Был объявлен и всесоюзный, и всероссийский розыск... и в Интерпол обращался... А ее все нет и нет. Где она, где?.. Может, правда – в круизе каком-нибудь... уехала и осталась, к примеру, в Париже... Но это же невозможно, немыслимо! Так нечестно, Зина.

Нехорошо так, Зинуль... Пошутила – и хватит. Возвращайся скорей, пожалуйста.

А три тыщи – они твои, они целые, нетронутые, лежат в серванте, тебя дожидаются. Правда, нынче на них ничего не купишь, но я в этом не виноват... Ну, пожалуйста, Зина, возвращайся.

И хотя мы с тобой очень сильно постарели, Зина, я тебя жду и буду ждать, пока не умру, и я не шучу, Зинуль. Потому

что я понял, что ты была права, и есть вещи, которыми не шутят.

*1977 г., 2013 г.*

# ИЗ ЖИЗНИ МИКРОБОВ

Сам я человек маленький, рост ниже среднего – и поэтому предпочитаю всё миниатюрное: и квартира у меня однокомнатная, и жена крохотуля, и собачка японской породы хин по кличке Капля, и на маленьком моем балкончике в маленьких ящичках маленький садик цветет и благоухает.

Ко всему большому я отношусь неприязненно. И большого счастья не ищу, и большой удачи мне вовсе не требуется. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Когда меня спрашивают: чего ты хочешь? – я отвечаю: лишь бы не били. Ага. Лишь бы не били, в самом буквальном смысле – под дых, сапогами под ребра. Лишь бы не трогали – те, кто большие. Такие большие, такие широкоплечие, такие волевые и целеустремленные, такие могучие ускорители прогресса, такие бесстрашные патриоты и так далее. Я их очень боюсь. Они большие, а я маленький. Их много, а я один. Я уж как-нибудь в их тени схоронюсь.

А вчера на профсоюзном собрании меня вдруг выбрали в профком. Зачем, спрашивается? Что за глупые шутки? И на первом же заседании избрали меня председателем. Это просто кошмар. Я просил, умолял, выдвигал железный самоотвод – ноль внимания. Выбрали, проголосовали единогласно, записали в протокол. И вот я теперь – председатель профкома. Абсурд! Я ж развалю им всю работу. Я им так и сказал,

а они веселятся: поработаешь, мол, не рассыплешься. Коллектив поможет.

Легкомысленные люди. Лишь бы свалить на маленького человека большую заботу. А сами – каждый о своем саде-огороде беспокоится.

Да ну их, с их профкомом. Я там делать ничего не собираюсь. Вот посмотрим, что будет, если я палец о палец не ударю – изменится что-нибудь или нет? Уверен – никто ничего и не заметит.

Когда я вечером, дома, за ужином, рассказал обо всем жене – она очень расстроилась.

– Надо было отказаться, – сказала жена. – Зачем тебе этот хомут?

– Пробовал отказаться – не слушают. Теперь уж поздно.

– Исправить ошибку никогда не поздно, – сказала жена. – Завтра же откажись. Свали на меня. Мол, жена против категорически. Ух ты, Капочка... Ка-а-апа...

Это она не мне. Это она приласкала нашу маленькую собачку Каплю. Как я уже сказал, японской породы хин. Забавная такая псинка, пушистая, лохматенькая, чернобелый такой ушастик, глазастик, курносый такой, игрушечный, ручной, заводной, карманный, домашний такой дружок.

– Вот, – говорю, – молодцы японцы. Как у них здорово получается всё маленькое! И диктофончики, и компьютерчики, и куклы-роботы, и собачки, и всякие там деревья декоративные...

– Потому что они живут в маленькой стране, – объяснила моя маленькая жена. – Вот им и приходится изобретать всё маленькое. Чтоб не так тесно было.

Эта маленькая мысль моей супруги показалась мне не такой уж маленькой. Я посмотрел на нее с уважением.

– Сама додумалась? – спрашиваю.

– А что?

– Ну... насчет японцев – может, где вычитала?

– Я вообще думаю, – сказала жена, продолжая развивать из маленькой мысли большую теорию, – я думаю, что японцы могли бы вывести особую породу людей-малюток, и тогда им было б совсем не тесно на маленьких своих островах... Понимаешь?

– О-о, – сказал я.

– Ведь если б японцы смогли – а они смогли бы! – вывести породу микро-людей, они бы этим компенсировали территориальный свой дефицит... и тогда... понимаешь?..

– Гениальная идея... – прошептал я. – И главное – нет ничего фантастического, это вполне реально – при нынешнем-то уровне генной инженерии!

– Вот видишь, – улыбнулась жена. – Давай, предложим японцам нашу идею?

– Да за такую идею можно Нобелевскую премию отхватить! – воскликнул я, обнимая маленькую свою умницу. – Да я завтра же напишу... – А куда?

– Ну, японцам.

– Постой... – нахмурилась жена. – Не спеши. Ведь мы-то с тобой, как-никак, не японцы. Может, следует сперва в наши органы соответствующие обратиться? Своим сперва сообщить... Для порядка – а?

– Ну-у, – сразу скис я. – Это ж начнется волокита... потом и не рады будем, что связались. Лучше прямо к японцам!

– А не причинит ли это ущерб безопасности нашего государства? – призадумалась моя маленькая патриотка. – Ты представь – расплодятся эти япошки, как муравьи... а для нас, россиян – хорошо ли это? В таких делах спешить не следует. И вообще – могут не так понять...

Я нахмурился, призадумался – и мой пылкий энтузиазм постепенно угас, и мне расхотелось проводить в жизнь замечательную идею.

– Ладно, черт с ними, с японцами, – решительно стукнул я кулаком по столу. – Пусть сами решают свои проблемы!

Жена согласно кивнула.

– Вот бы нам с тобой стать совсем малюсенькими, – сказала она мечтательно.

– Куда уж меньше?

– Вот бы стать нам совсем крохотулечками, – продолжала она, – и тогда б наша маленькая квартирка стала просторной как огромный дворец!..

– Мне вообще-то и так неплохо, – не очень уверенно заметил я.

– Мне тоже, но могу я хотя бы помечтать? – И жена за-



катила маленькие серые глазки. – О, как я хотела бы стать Дюймовочкой... я гуляла бы по цветочной клумбе, летала бы верхом на бабочке, на стрекозке, на божьей коровке...

Я слушал ее и кивал, соглашаясь. Конечно, она права, моя умненькая малютка. Чем человек меньше, тем он незаметнее, и тем просторнее ему в этом тесном мире. И тем легче остаться в живых.

– Ну а я бы хотел стать микробом, – сказал я мечтательно. – Прелесть в том, моя прелесть, что никто бы меня тогда не видел... Главное – быть подальше от микроскопа!

– А как ты думаешь, – спросила жена, – у микробов есть душа?

– Не знаю, – сказал я, – но уверен, что они – счастливы.

*1986 г.*

# ЗАТМЕНИЕ – 81

## Рассказ-хроника

*Посвящается А. Г. П.*

«Солнечное затмение, которое произойдёт сегодня, 31 июля 1981 года, с полным правом можно назвать последним во втором тысячелетии нашей эры.

...Блокирование на короткий отрезок времени элементов связи Земля-Солнце может вызвать ряд *о т к л о н е н и й* (курсив мой – Э. Р.) от обычных, естественных процессов на планете. Поэтому необходимо быть несколько собраннее, осторожней, особенно тем, чья работа связана с какой-то долей риска»

*(«Кырский рабочий», 31 июля 1981 года).*

### **9 часов 5 минут.**

Я позвонил художнику Андрею Геннадьевичу и спросил – знает ли он, что сегодня, сейчас, буквально через несколько минут, начнется солнечное затмение. Он, разумеется, был не в курсе. И вот так – всегда: другие люди давно всё знают, один Андрей Геннадьевич ничего не знает. Витает в облаках. Художественная, видите ли, натура. Не от мира сего. «И тебе, – говорю, – не стыдно?» – «А у меня, говорит, нету

радио. И телика нету. И газет я не читаю, потому что не выписываю». – «А почему, – говорю, – не выписываешь?» – «А потому, – говорит, – что денег нету». – «Так бы сразу и сказал», – говорю. – «А что?» – говорит. – «Чего?» – говорю. – «Ты о чем?» – говорит. – «Как о чем? – говорю. – О солнечном, – говорю, – полном затмении, которое начнется с минуты на минуту, посмотри на часы или на небо, на солнце, сквозь темные очки или закопченное стекло или сквозь любой другой светофильтр, это ж бесплатное зрелище, супердефицитное шоу века, спешите видеть, последний раз в тысячелетии, торопитесь, торопитесь, только один сеанс, после третьего звонка вход воспрещен, это я шучу, не пугайся, кладу трубку, чао».

«Солнечное затмение на меридиане Кырска начнется в 9 часов 42 минуты местного летнего времени, высшая фаза в 10 часов 51 минуту, окончание в 12 часов 06 минут».

*(«Кырский рабочий», 31 июля 1981 года).*

## **9 часов 15 минут.**

Андрей Геннадьевич позвонил мне и сказал, что намерен идти на Караульную гору с этюдником – и позвал меня с собой. Ему, видите ли, захотелось написать с натуры затмение солнца. «Зачем лезть на гору? – удивился я. – Ведь можно с крыши твоего дома, у тебя такая замечательная плоская крыша». – «А я хочу с Караульной горы», – сказал упрямый Андрей Геннадьевич, и я не стал с ним спорить, потому что

спорить с ним **БЕСПОЛЕЗНО** и **НЕКОГДА**, надо за солнцем следить, а с этим упрямым художником лучше не спорить: можно **ОПОЗДАТЬ**.

**9 часов 28 минут.**

Когда я примчался к Андрею Геннадьевичу на такси, он был, разумеется, не готов к выходу – он чистил туфли. У него такая слабость, он всегда, перед тем, как выйти на улицу, чистит туфли, даже если на улице дождь, даже если полное затмение, даже если землетрясение – Андрей Геннадьевич обязательно чистит туфли. Он очень старательно их чистит и очень от этого устает, а когда туфли, наконец-то, сверкают как лаковые, Андрей Геннадьевич вдруг обнаруживает, что у него **ЗАБОЛЕЛА ГОЛОВА** или **ЗАБОЛЕЛО СЕРДЦЕ** или он **ВСПОТЕЛ** – а поэтому обязательно надо умыться до пояса (как минимум!), и он идет умываться (в сверкающих туфлях).

Так было и сейчас.

Он умывается – я жду. Надевает фланелевую рубашку, приглаживает стриженные как у арестанта волосы – я жду, содрогаясь от нетерпения, но подгонять не смею, потому что это бесполезно. Художник почти готов. Осталось надеть **АРТИСТИЧЕСКУЮ** вельветовую куртку и **АРТИСТИЧЕСКИЙ** берет, и взять этюдник. Художник вдруг замер, опустил голову вниз – он о чем-то **ЗАДУМАЛСЯ**.

«Да скорей же! – взрываюсь я. – Ведь опоздаем!» – «Успеем, – говорит Андрей Геннадьевич, – успеем». – «Посмотри

на часы!» – «А у меня нет часов». – «Но как ты следишь за временем?» – «Я за ним не слежу. Пусть ОНО следит за мной. И вообще, я не понимаю: что это значит – время? Это лишь слово из пяти букв, абстрактное понятие. Подлинное время – внутри нас. Внешнее время – фикция». – «Не понимаю», – говорю я сердито. – «И не поймешь никогда».

Пауза. Пауза. Каузальная пауза. Казуистически-каузальная пауза.

«Не забудь, – говорю, – темные очки». – «Это еще зачем?» – удивляется Андрей Геннадьевич – «Как зачем? – возмущаюсь я. – Ведь ты испортишь зрение, если будешь смотреть на солнце незащищенными глазами».

«Художник не должен глядеть на мир через темные очки», – гордо возражает Андрей Геннадьевич.

«Даже – на солнце?» – ехидно замечаю я.

«На солнце – тем более, – говорит Андрей Геннадьевич. – Я буду смотреть на затмение солнца распахнутыми глазами. Презираю всяческие светофильтры – и розовые, и черные... Я буду – как орел – смело смотреть на солнце. Вот именно – как орел. Да, да. Как орел».

«Нам хотелось бы предостеречь наблюдателей от нежелательных последствий – ожогов глазного дна. Дело в том, что энергия прямого светового солнечного облучения, концентрируемая оптическим аппаратом глаза, огромна и может вызвать *н е п о п р а в и м ы е* (курсив мой – Э. Р.) изменения в центральной части

сетчатки».

*(П. Макаров, главный офтальмолог крайздравоотдела, профессор, – «Кырский комсомолец», 31 июля 1981 года).*

## **9 часов 42 минуты.**

На Караульной горе – толпа местных жителей. Шум, гам, хохот, у всех в руках бинокли, подзорные трубы со свето-фильтрами, темные стекла. Особенно много зевак возле белокаменной часовни.

Мы с Андреем Геннадьевичем пробираемся сквозь толпу, с трудом находим маленькую площадку возле откоса. Устраиваемся. Я смотрю на светило сквозь закопченное стекло. Андрей Геннадьевич присаживается на каменистый выступ, раскрывает этюдник – и устремляет орлиный взор на затмевающееся солнце (сверху и справа ярко-белый каравай надкушен коварной луной, лови, лови сей исторический миг, секи момент, засекай, фиксируй, отражай на листе ватмана) – но в эту минуту какой-то странный гражданин подходит к Андрею Геннадьевичу и предлагает ему уйти с чужого места.

«Мы не в театре, – гордо возражает Андрей Геннадьевич. – У вас что, есть билет на это место?»

«Ценю ваш юмор, милостивый государь, – говорит этот типчик (бородка, усы, круглое чуть одутловатое лицо, на голове шляпа-котелок, на плече висит этюдник), – но я, – говорит этот типчик, – занял сию позицию раньше вас, и не намерен искать другую».

«Когда ж вы заняли сию позицию?» – иронически инте-

ресуется Андрей Геннадьевич.

«Очень давно, – говорит этот типчик, – еще в тыщу восемьсот восемьдесят седьмом году я занял сию позицию. Я писал с натуры полное солнечное затмение тыща восемьсот восемьдесят седьмого года – но ту свою картину я потерял... и намерен нынче взять реванш! Так что, извольте освободить местечко, сударь».

«Да кто вы такой?» – вмешался я в распрю двух художников.

«Я ваш земляк. А знаменитых земляков надо знать в лицо, – презрительно заметил круглолицый в шляпе. – Моя фамилия Суриков. А с кем имею честь?» «Перед вами – Андрей Геннадьевич...» – начал я объяснять, но Андрей Геннадьевич меня перебил – и закричал, срываясь на фальцет:

«Молчи! Молчи! Не смей унижаться! Ишь – начальство! Су-уриков... ну и что? Да хоть Айвазовский! Если ты Суриков – значит, можно меня с горы спихнуть? Не выйдет! Этот номер, батенька, у вас не пройдет!»

И он погрозил татуированным кулаком – Суриков даже зажмурился от страха, попятился и чуть не упал с крутого откоса.

«...появляется колеблющееся затуманивание с видением в красном, желтом или фиолетовом свете. Острота зрения падает на 50-90 процентов. В тяжелых случаях – резко снижается навсегда».

*(П. Макаров, главный офтальмолог крайздраводела,*

*профессор, – «Кырский комсомолец», 31 июля 1981 года).*

## **10 часов 15 минут.**

Луна закрывает жирный желтый солнечный диск – словно голодная крыса пожирает круг сыра.

Мы с Андреем Геннадьевичем перешли на другое место, подальше от часовни – но и оттуда нас прогнал какой-то строгий молодой человек (узколицый, хмурый, с чахлой прозрачной бородкой, в студенческой дореволюционной тужурке).

«В чем дело? – возмутился я. – На каком основании вы нас гоните? И кто вы такой?»

«Я член императорской научной экспедиции, – заявил молодой человек, – а фамилия моя – Попов».

«Это неправда! – сказал Андрей Геннадьевич. – Евгений Попов сейчас проживает в Москве, и борода у него значительно гуще вашей».

«Я совсем другой Попов, – сказал другой Попов. – Я Александр Степаныч Попов, знаменитый изобретатель радио, а сюда я прибыл для наблюдений за солнечным затмением. Это *м о ё* (курсив мой – А. П.) место. Здесь стоит мой фотометр. Или вы ослепли, милостивый государь? Или вы не знаете, что такое фотометр? Данный прибор, я надеюсь, позволит мне исследовать распределение яркости в солнечной короне».

«Ладно... Пошли отсюда! – сказал я Андрею Геннадьевичу. – Все места под солнцем заняты. Видишь, сколько тут



всяких блатных... не пробьешься».

«Нет! Я этого так не оставляю! – воскликнул Андрей Геннадьевич. – Я художник – и требую, чтобы мне дали место под солнцем».

«Пошли, пошли», – повторил я.

«В гробу я видал твой фотометр!» – закричал вдруг А. Г. И замахнулся татуированным кулаком на другого Попова – и другой Попов отшатнулся в непритворном ужасе, но не упал с крутого откоса.

«...ещё Сократ, живший 400 лет до нашей эры, рекомендовал наблюдать солнечное затмение только через ег о отражение в воде».

*(П. Макаров, главный офтальмолог крайздравоотдела, профессор, – «Кырский комсомолец», 31 июля 1981 года).*

## **10 часов 30 минут.**

«Куда ты меня тащишь? – спросил я Андрея Геннадьевича, когда мы спустились с Караульной горы и оказались на центральной площади, возле Дома Советов.

«Сейчас же! Немедленно! – крикнул Андрей Геннадьевич. – Я не потерплю, чтобы меня унижали! Я не пешка! Я художник – и желаю иметь свое место под затмевающимся солнцем!»

«Но зачем мы пришли именно сюда? – удивился я. – Драгоценное время уходит, а мы его тратим на глупые конфликты и беготню. Одумайся, маэстро! Вспомни – я предлагал: устроиться на плоской крыше твоего дома – лучшего места

не найдешь!»

«Чепуха, – сказал А. Г. – При чем тут крыша? Я должен доказать! Я не пешка! Идем в отдел культуры! Я им докажу!»  
«Никому ты ничего не докажешь, – сказал я сердито. – А пока мы тут будем ходить – затмение кончится».

«Не кончится», – сказал Андрей Геннадьевич.

«Как это – не кончится?» – удивился я.

«А вот так».

...мрак сгущается, тело пронзает вечерний озноб, всего плюс пять градусов по Цельсию.

Глаз, хрусталик, Христос...

О, двадцатый хрусталик веков!

(Г. Аполлинер – «Зона»).

**10 часов 36 минут.**

«Погляди-ка», – сказал я.

На входной двери Дома Советов висел большой лист бумаги с таким вот объявлением:

**«В СВЯЗИ С 19-й КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ, НАМЕЧЕННОЙ НА 31 ИЮЛЯ 1981 ГОДА, РАНЕЕ ОБЪЯВЛЕННОЕ ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА ПЕРЕНОСИТСЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА 1981 ГОДА».**

«Что за бред?! – воскликнул я, оглядываясь на Андрея Геннадьевича. – Как это можно затмение солнца перенести на другой день?»

«У нас – все можно, – улыбнулся Андрей Геннадьевич. –

Мы не можем ждать милостей от природы. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И так далее. Ну, чего остановился? Проходи!»

Мы зашли в Дом Советов, но почему-то вдруг оказались под сводами огромного СОБОРА... Благоухание воска и ладана, сладкое пение невидимого хора, полумрак, лишь несколько свечей горят и освещают золотой иконостас.

«Слушай – куда мы попали?! – прошептал я на ухо Андрею Геннадьевичу. – Разве это – отдел культуры? По-моему, мы ошиблись...»

«А по-моему, нет», – сказал Андрей Геннадьевич.

А потом хор умолк, и послышался голос невидимого священника.

«Странно – почему он говорит по-русски?» – удивился я.

«Ты бы хотел, чтоб священник говорил по-французски?» – съязвил Андрей Геннадьевич.

«Нет... но ведь службы обычно ведутся на старославянском...»

«Так ведь на старославянском ты б ни хрена не понял, – усмехнулся Андрей Геннадьевич. – Или тебе не нравится наш великий, могучий?...»

...И КОГДА ОН СНЯЛ ШЕСТУЮ ПЕЧАТЬ, – говорил священник. – Я ВЗГЛЯНУЛ, И ВОТ, ПРОИЗОШЛО ВЕЛИКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, И СОЛНЦЕ СТАЛО МРАЧНО КАК ВЛАСЯНИЦА, И ЛУНА СДЕЛАЛАСЬ КАК КРОВЬ... И ЗВЕЗДЫ НЕБЕСНЫЕ ПАЛИ НА ЗЕМЛЮ, И

НЕБО СКРЫЛОСЬ, СВИВШИСЬ КАК СВИТОК... И ВСЯКАЯ ГОРА И ОСТРОВ ДВИНУЛИСЬ С МЕСТ СВОИХ...

«Господи, что это?!» – испугался я.

«Молчи! – сказал Андрей Геннадьевич. – Молчи и слушай».

...И ЦАРИ ЗЕМНЫЕ И ВЕЛЬМОЖИ, – продолжал священник. – И БОГАТЫЕ И ТЫСЯЧЕНАЧАЛЬНИКИ И СИЛЬНЫЕ, И ВСЯКИЙ РАБ И ВСЯКИЙ СВОБОДНЫЙ СКРЫЛИСЬ В ПЕЩЕРЫ И В УЩЕЛЬЯ ГОР, И ГОВОРЯТ ГОРАМ И КАМНЯМ: ПАДИТЕ НА НАС И СОКРОЙТЕ НАС ОТ ЛИЦА СИДЯЩЕГО НА ПРЕСТОЛЕ И ОТ ГНЕВА АГНЦА... ИБО ПРИШЕЛ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ ГНЕВА ЕГО, И КТО МОЖЕТ УСТОЯТЬ?..

**10 часов 55 минут.**

Мы вышли из душного соборного полумрака на площадь – и оказались в кромешной холодной беззвездной мгле.

Еле различимые в темноте, на площади толпились люди – с задранными головами, с глазами, обращенными в черное небо.

Полное затмение – черное солнце. Пылающий обруч протуберанцев. Король каннибалов в золотой короне.

«Вот оно – полное солнечное затмение! – воскликнул я радостно. – Вот оно! Наконец-то!»

«Чему радуешься, чудака?» – сказал Андрей Геннадьевич.

«А разве тебе – не интересно?» – и я заглянул в лицо художника, но лица его не было видно – только бледное пятно

во мгле.

«Мне интересно – сколько это продлится?» – сказал Андрей Геннадьевич.

«Сейчас, проследим, – и я глянул на светящийся фосфорный циферблат своих ручных часов. – Через две-три минуты мрак должен рассеяться. Сейчас – высшая фаза! Запоминай, художник! Секи момент!»

«Чего ты раскричался?» – сказал грустный Андрей Геннадьевич.

...многотысячная толпа – единый живой организм. Многотысячная толпа – многоголовая гидра. Галдящая и хохочущая многоголовая гидра, устремившая все свои слепые очи в черное небо – в ожидании солнца...

**11 часов 45 минут.**

Затмение продолжается. Луна сожрала солнце.

**12 часов 05 минут.**

Затмение продолжается. Мрак. «Вот видишь, – сказал художник, – а ты боялся опоздать...»

**14 часов.**

Затмение продолжается.

...Прощай же! Прощай!

Солнце с перерезанным горлом...

(Г. Аполлинер).

**16 часов.**

Затмение продолжается.

«Ничего не понимаю, – сказал я, тоскуя. – Почему затме-

ние не кончается? Почему? Все сроки, назначенные учеными, давно истекли – а солнца всё нет и нет... почему?» «А что, если затмение давно уже кончилось? – лукаво сказал Андрей Геннадьевич. – Быть может, вы просто все ослепли?.. Вот вам и кажется, что затмение не кончается. Вы просто ослепли – вот вам и кажется... Впрочем, конечно же, я пошутил... ха-ха... вы просто слепые кроты... ха-ха-ха!.. – И он так странно засмеялся, будто всё, что происходит вокруг, он не только предвидел и предугадал, но даже... даже... (страшно произнести!)... будто именно он, Андрей Геннадьевич, именно он всё ЭТО *п р и д у м а л* (курсив мой – Э. Р.).

### **1 августа 1981 года.**

Затмение продолжается.

...слепая многоголовая гидра, глухо стонущая и тяжело колеблющаяся в душном и хладном мраке, слепая гидра, жадно жаждущая жаркого жирного желтого солнца...

### **Ноябрь 1876 года.**

Люди на земле одни – вот беда!..

...говорят, солнце оживляет вселенную. Взойдет солнце и – посмотрите на него, разве оно не мертвец?..  
(Ф. Достоевский).

### **3 августа 1981 года.**

Затмение продолжается.

### **5 февраля 1982 года.**

Затмение продолжается.

### **22 августа 1991 года.**

Затмение продолжается.

**4 октября 1993 года.**

Затмение продолжается.

**15 июля 1998 года.**

Затмение продолжается.

**23 августа 2013 года.**

Затмение продолжается.

«...где ты? Где? Отзовись – где ты?..» – отчаянно спрашиваю я, пытаюсь во мраке нащупать худое плечо художника.

«Я пишу картину», – отвечает он.

«Но разве ты что-нибудь видишь?!..»

«Я вижу всё», – отвечает художник и тихо смеется.

**18 января 2014 года**

Затмение продолжается.

Слепая толпа не расходится.

Затмение продолжается.

А зрячий художник смеется. Он пишет во мраке свою картину, которую не видит и не увидит никто, кроме него. Художник смеется. Он кое-что знает, но никому не скажет. Все плачут, а он смеется.

Затмение продолжается.

# РЯДОВОЙ ИСАЕВ

Иван родил Степана, Степан родил Николая, Николай родил Ермолая, Ермолай родил Федора, Федор родил Андрея, Андрей родил Ивана, Иван родил Алексея, Алексей родил Валерия, Валерий родил Петра, Петр родил Дениса, Денис родил Игоря, Игорь родил Анатолия, Анатолий родил Вадима, Вадим родил Аристарха, Аристарх родил Олега, Олег родил Ивана, Иван родил рядового Исаева, на котором преврался род.

Рядовой Исаев в детстве отставал в умственном развитии, и поэтому мать отдала его в спецшколу, которую он успешно закончил, после чего поступил в кулинарный техникум. Но закончить техникум ему не удалось, потому что Исаев на первом же занятии заявил, что есть мясо животных грешно – и категорически отказался изучать способы приготовления котлет и бифштексов, но призвал всех немедленно перейти на сугубо растительную, вегетарианскую пищу, чем вызвал гнев преподавателей и насмешки товарищей.

Исключенный из техникума, он устроился разнорабочим на рынке, где выполнял всевозможную физическую работу. На заработанные деньги купил велосипед и отправился в путешествие в Москву, даже не предупредив об отъезде свою бедную матушку.

Когда ранним утром, с первыми лучами солнца, Исаев



въехал в Москву на своем велосипеде, никто этого не заметил, только птицы запели громче, приветствуя долгожданного гостя. И пока ехал он по пустынным улицам просыпающейся Москвы, птичий гомон и крик сопровождал его, но Исаев не обращал внимания ни на чириканье воробьев, ни на курлыканье голубей, ни на карканье ворон. Он доехал до Красной площади, где остановился напротив мавзолея – и громко обратился к часовым, охранявшим нетленное тело, с призывом немедленно, прямо сейчас, предать это тело земле, иначе страна будет обречена на бесконечные муки и страдания.

– Вот увидите, братья, как только тело, хранящееся в мавзолее, мы предадим земле, наша родина расцветет и счастье придет в каждый дом! А иначе всех нас ждут годы горя и потрясений...

Часовые молчали, насупившись, но тут подоспели сотрудники милиции и несколько граждан в штатском – они подхватили рядового Исаева и мягко, стараясь его не травмировать, закинули в служебную машину, после чего отвезли в одну из московских психиатрических больниц, где врачи тут же принялись лечить его нейролептиками и трудотерапией. Спустя два месяца Исаева выписали, признав ограниченно вменяемым и дееспособным, и с сопровождающими отвезли в родной город Кырск, к бедной матушке, которая все слезы уже выплакала по непутевому сыну.

– И где тебя носит нечистая сила? – причитала она,

небольшо колотя Исаева маленьким сухоньким кулачком. – И когда ты утомонишься?

– Будь спокойна, мама, – отвечал ей Исаев, жизнерадостно улыбаясь. – Мне светит моя звезда. И я не сверну с моего пути!

Кстати, вскоре после его возвращения в Москве произошли всем известные события, завершившиеся расстрелом Белого дома и отменой поста номер один возле мавзолея, но Исаев об этом уже не узнал.

Весной его призвали в армию. Поначалу врачи не хотели признавать его годным, учитывая анамнез и психический статус (к тому же, он сразу заявил врачу-психиатру, что военная служба – грех, и стрелять в живых людей – грех, и вообще все солдаты и офицеры должны немедленно покаяться и уйти в отставку), но председатель призывной комиссии, пузатый полковник, погрозил ему толстым волосатым пальцем и сказал, обращаясь больше не к нему, а к членам комиссии: этот номер не пройдет, альтернативка ему не светит, а для нас главное – не сорвать призыв, ну а потом, если что, через пару же месяцев комиссуем этого придурка.

И рядовой Исаев начал служить в караульной роте, где с первых же дней стал мишенью насмешек и издевательств своих товарищей. Они заставляли его стирать свои подворотнички, чистить унитазы зубной щеткой, вынуждали его во время редких увольнительных побираться на улицах, выпрашивая у прохожих деньги, которые эти же товарищи по-

том пропивали. А сам рядовой Исаев не пил и не курил, и девушек сторонился, отчего солдаты глумились над ним с еще большим пылом и ожесточением.

Однажды командир части отправил пятерых солдат (в том числе и рядового Исаева) на свою загородную дачу – наладить прохудившуюся веранду и беседку во дворе. Дал им задание, старшим оставил сержанта Юдина – и уехал. Сержант Юдин сразу же отправил рядового Исаева в ближайший магазин за водкой, а потом рядовой Исаев и еще один солдат вдвоем ремонтировали веранду, а веселая троица распивала водку, закусывая пупырчатыми огурцами с грядок. Когда водка кончилась, сержант Юдин захотел продолжить, но денег больше ни у кого не было. Тогда сержант Юдин поковырялся ножом в дверном замке запертой дачи – и проник внутрь. И вскоре вернулся, помахивая тремя сторублевками.

– Исаев, вали в магазин! Возьмешь два пузыря и жрачки! – приказал сержант Юдин.

– Я не пойду, – отказался рядовой Исаев. – Красть чужие деньги нехорошо...

– А спорить со старшим по званию – хорошо? Ты, я вижу, давно по морде не получал? – удивился сержант Юдин и не очень сильно ударил рядового Исаева кулаком в лицо. – Утрись – и бегом в магазин!

– Не пойду, – прошептал окровавленными губами рядовой Исаев. – Это грех. И вы сами потом пожалеете...

– Я потом пожалею, а ты сейчас, – сказал Юдин и стал

лениво избивать Исаева.

Потом он устал и послал за водкой другого солдата, так как Исаев уже не смог бы никуда пойти. Он лежал весь в крови, на грязной земле, возле груды досок, приготовленных для новой веранды. Доски очень вкусно пахли свежей сосной.

Вскоре вернулся солдат с водкой, товарищи дружно выпили обе бутылки, а потом стали воспитывать строптивного рядового Исаева. Они били его долго и азартно, пока не забили досмерти.

– И куда его? – спросил запыхавшийся солдат, глядя на мертвое тело.

– Отнесем в овраг, за участком, – сказал сержант Юдин. – А полковнику скажем, что Исаев сбежал.

– А вдруг найдут?

– Да кому он на хер нужен, этот придурок, – сплюнул сержант. – Потасили!

И они унесли мертвое тело Исаева, и бросили его в овраг, и закидали всяким мусором и лесным хворостом, а потом это всё подожгли. И когда они это делали, поднялся вдруг сильный ветер, и солнце скрылось за черными тучами, и птицы кричали так громко, так оглушительно, так тревожно...

И сгорел рядовой Исаев, но его бессмертная чистая душа вознеслась высоко-высоко, и никто не нашел его обгорелые останки, потому что никто не искал, потому что он и впрямь оказался никому не нужен, потому что вообще никто никому

не нужен в этом мире, даже те, кто приходят в этот мир не случайно, не просто так, а чтобы спасти нас всех, но ведь мы не хотим спасения, мы и сами не знаем, чего хотим.

# ПРИГОВОР

...Ангел светлый с темными крылами,  
Заждалась тебя я – прилетай!  
Все, что было, милый, между нами,  
В тайне сохраняю я, так и знай...

– Ишь, Сорока, какие стихи твоя жена тебе пишет, – сказал на прощанье майор, протягивая мне вскрытый конверт. – Сегодня пришло... Неужто сама сочинила? Вот уж обрадуется, когда вернешься.

– Так точно, гражданин майор, – сказал я, пряча конверт в карман куртки-спецовки.

Сорока – моя кликуха, от фамилии Сорокин.

– Значит, на свободу – с чистой совестью? – И майор с отеческой заботой заглянул в глубину моих ласковых глаз. – Ты же хороший парень, у тебя золотые руки. Пить не будешь – всего добьешься. В твоём Кырске сейчас такое строительство разворачивается! Дома, как грибы, растут. Я сам оттуда, знаю.

– Я тоже знаю, гражданин майор. Без работы не останусь.

– Ты, главное – с женой в мире живи. И все будет хорошо. Она тебя так любит, вон какие стихи пишет – аж завидно!

– Хотите, подарю? – Я достал из кармана конверт.

– Ты, Сорока, этим не шути.

– Извините, гражданин майор. Я тоже ее люблю. Разрешите идти?

– Не терпится? – Майор подмигнул своим розовым кроличьим глазом. – Ладно, ступай. От колонии до автовокзала – на пятом автобусе, а там на междугородний возьми. К утру дома будешь.

– Я знаю, гражданин майор.

– Иди... Да жену не обижай!

– Пусть она меня не обижает, – сказал я, ласково улыбаясь этому жирному кролику. – Спасибо за науку и заботу, гражданин майор.

Родной город за два года похорошел. Новые дома, фонтаны на перекрестках, скверы, а сколько машин! Ну да ничего, я себе тоже на машину заработаю. Вот только с делами неотложными разберусь.

Домой звонить не стал – пусть будет сюрприз. Посмотрим, как она меня любит, как ждет-не дождется.

А вот и мой автобус. Зашел, встал у заднего окна, люблюсь на похорошевший город.

Невольно прислушался к разговору двух молодых бабенок, что сидели рядышком, за моей спиной.

– Ну и как твой, тебя не обижает?

– Меня обидишь, как же. Да нет, он тихий, спокойный. Получку всю мне отдает, как до свадьбы договаривались...

– А мой-то, гад, дает мне только на текущие расходы. Каждое утро выдает, а вечером спрашивает – на что и сколько

потратила... Жмот сраный!

– Нет, мой в этом отношении ничего. Сам у меня на пиво просит.

– Да он ангел у тебя!

– Вонючий ангел.

– Как это?

– Да так. Мыться не любит, а потеет сильно. И козлом от него несет. Я ему говорю – ты, козел, носки бы сменил! А он снимет их и по комнате раскидает...

– Ну, это пустяки.

– Ничего себе, пустяки. Меня от него тошнит. Если ты, говорю, вонючка, не будешь каждый день душ принимать, я тебя брошу.

– А он?

– Думает, я шучу. Ладно, говорит, кисуля, не ворчи. И лезет со своими вонючими поцелуями. Я кричу – иди под душ, козел! А он смеется...

– А мой – маменькин сынок. Всё для нее, для мамочки своей старается, в день по десять раз ей звонит, а мне – хоть бы раз позвонил с работы. Я хоть подохну, он не колыхнется, а мамочка только чихнет, он сразу бледнеет – что с тобой, мамуля, ты не простыла? У-у, так бы их обоих и убила!

– А мой, как с работы придет, на диван завалится – и ноги свои вонючие, в грязных носках, раскинет. Джулька, собака, к нему лезет, лижет его, вонючку. Иди в душ, кричу, смени носки! А он смеется – собаке, мол, нравится. Вишь, как ли-



жет мои ноги! Вот и живи с собакой, козел, а я ухажу... А куда я уйду? Покричу и успокоюсь.

– Некуда нам деваться, подруга.

– Извините, милые дамы, – вмешался я в их разговор. – Не мое, конечно, собачье дело... Но, мне кажется, вы просто не любите своих спутников жизни...

– А ты кто такой? – окрысилась худая брюнетка, у которой муж – вонючка.

– Неприлично – подслушивать, – ехидно добавила пухленькая блондинка, у которой муж – жмот. – Мы уж как-нибудь сами со своими мужиками разберемся.

– Главная ваша беда – недостаток любви, – сказал я, глядя на них со строгой улыбкой. – От этого в мире все беды и несчастья. Никто никого не любит.

– Да ты глянь на его руки, – фыркнула брюнетка. – Весь в наколках... Из зоны, небось?

– Угадала, – кивнул я. – Только вчера откинулся. Еду к любимой жене.

– Ну-ну, – хохотнула блондинка. – Вот жене и расскажешь про свою любовь. А она тебе – про свою верность...

– Это что, намек?

– А чего мне намекать? Ты сколько на зоне пробыл?

– Два года. Из-за жены, между прочим. Хотите – расскажу?

– Ты, я вижу, сам очень хочешь. Ну, расскажи, если не стыдно.

– А чего стыдиться, – и я рассмеялся тихонько. – Дело прошлое. Нет, она мне не изменяла, в этом смысле все было у нас хорошо. Мы с ней в школе вместе учились, с детства дружили...

– Ой, как трогательно, – скривилась брюнетка, – сейчас заплачу.

– Да, конечно, смешно, – согласился я. – Но мы, правда, крепко любили друг друга. И все, вроде, было у нас хорошо. Жаль, детей только не было. Может, поэтому я и пить стал...

– Ага! – кивнула сердито блондинка. – А если бы дети были – пил бы совсем по-черному.

– Ну, не знаю. Запоев у меня не было, просто – поддам иногда с друзьями... А она обижалась. Потом стали ссориться. И однажды, когда я спьяну ударил ее... ну, не рассчитал – сильно ударил, сознаюсь... так она раскричалась и – милицию вызвала!

– И правильно сделала, – буркнула брюнетка.

– Нет, не правильно, – возразил я. – Неправильно. Ведь она-то трезвая была, понимала, что я не со зла, а спьяну... Да я сам пред ней повинился, я ноги ей целовал, прощения просил. А тут – милиция. Засадил меня на пятнадцать суток...

– Мало!

– Дай дорасскажу. Просидел я, значит, пятнадцать суток, выхожу, возвращаюсь домой – и, ни слова не говоря, загоняю ее, мою драгоценную, в ванную комнату. Запер ее там,

дверь снаружи гвоздями заколотил – и пятнадцать суток она у меня просидела. Жратву в окошечко подавал, а санузел там совмещенный...

– Ну-у, мужик... ты и гад, – изумленно пробормотала блондинка. – А ты все это сейчас не придумал?

– Нет. Зачем мне врать? Так вот, просидела она, значит, взаперти свои пятнадцать суток, никто ее не хватился, родни нет, и в ту пору она нигде не работала... а когда вышла на волю, то тут же и позвонила в милицию. А потом был суд – и мне впаили два года...

– Молодец баба! – восхищенно сказала брюнетка. – Так вас, мудаков, и надо учить.

– Ты поосторожнее выражайся, – заметил я вежливо. – Если б не срочные дела, я б тебе за грубое слово врезал... не посмотрел бы, что ты такая красавица и чистюля. Вижу, муж тебя совсем распустил...

– Значит, срок-то свой отбыл? – перебила блондинка. – И опять – домой? Не боишься, что твоя ненаглядная себе другого нашла?

– Не боюсь, – говорю. – Ведь она меня любит. Если б знали вы, какие она мне письма в зону писала! А какие стихи... Но тут подоспела моя остановка.

Вышел я из автобуса и направился к родному дому. Весь двор забит гаражами. Вон и мой гараж. Правда, машину свою я еще до суда продал – чтоб жене было на что жить без меня. Хоть она меня и засадила, но кто о ней позаботится,

если не я? Жена есть жена. Мой долг – не дать ей с голоду помереть.

Поднимаюсь на третий этаж, звоню. Открывает – она! Моя родная, моя сероглазая Соня, моя любимая, моя бледненькая худышка...

– Это ты, Митя? – воскликнула как-то испуганно.

– Да, это я. Кто же, кроме меня? Или ты не рада?

– Что ты! Рада! Еще как рада! – И прижалась ко мне, дрожит, плачет. – Ах, мой Митенька, мой родной... так соскучилась по тебе!

– А не врешь? – говорю, отстраняя ее и вглядываясь в серые глазки, и вспоминаю вдруг слова из какой-то книжки, читанной еще в детстве: "Эти глаза не лгут!" – Ладно, ладно, чего расхныкалась...

– Ты, наверное, голодный? – всхлипывая, спросила Соня. – Пошли на кухню, я тебя накормлю.

– Потом поем, – отказался я – и глянул на часы. – У меня для тебя приготовлен подарок, Соня. Ты ведь, знаю, ждала меня эти два года, была мне верна...

– Конечно! Я же тебе писала! А почему ты, Митя, отказался тогда от свидания? Я ведь к тебе приезжала, на зону...

– Ну, извини. Так было надо. Потом объясню. А сейчас я хочу показать тебе свой подарок...

– Какой подарок? – улыбнулась она недоверчиво. – Где же он?

– А он там, в гараже, – сказал я, подмигивая. – Пошли,

покажу. Где ключи-то от гаража?

– Вон, на гвоздике – как повесил ты их тогда, два года назад, так и висят...

– Очень хорошо. – Взял я ключи, притянул к себе Соню, обнял за плечи, поцеловал – и повел из квартиры, вниз по лестнице, потом через двор, в гараж.

А в гараже у нас – погреб. Вот в этот погреб мы с ней и спустились.

– Чего ты задумал, Митя? – испуганно пролепетала Соня.

– Неужто не догадалась?

– Догадалась...

– Чего ж не кричишь? Не зовешь на помощь?

– Ты мой муж... Я тебя люблю... Я тебя так ждала... Я тебе такие письма писала... И такие стихи... Я ведь тут без тебя всерьез поэзией увлеклась, у меня даже книжка недавно вышла – "Письма к ангелу" называется... Хочешь, дам почитать?

– Конечно, хочу. Но потом. А писем твоих я не читал, Соня.

– Почему? – И губки дрожат – то ли от холода, то ли от обиды. – Ведь я так тебя люблю, Митенька... И книжку свою я тебе посвятила!

– Это все слова, – сказал я. – Красивые слова. А за поступки свои надо отвечать. И я, Соня, приговорил тебя к двум годам заключения. Как ты меня – так и я тебя. Будешь сидеть в этом погребе до конца срока. И никаких амнистий!

– Митя, милый, да разве это возможно? Мне ведь завтра надо в Москву лететь – получать премию. Есть такая премия "Дебют" – может, слышал? Я уже и билет на самолет взяла...

– Москва подождет, – сказал я. – Пусть все думают, что ты в Москву улетила, а ты – здесь... А с премией я тебя поздравляю. Это здорово. Я горжусь тобой, Соня.

– Не шути так, пожалуйста, Митя! Если любишь – прости!

– Я очень тебя люблю, – сказал я серьезно, заглядывая в глубину ее ласковых глаз. – Ты не бойся, я тебя буду хорошо кормить. И навещать тебя буду регулярно. Дам тебе книжек, бумаги – можешь стихи писать... Все, что хочешь, кроме свободы. А через два года – если не разлюбишь – начнем жизнь заново. Извини, но я не могу иначе.

И она получила от меня все – и еду, и книги, и мою любовь, и даже пишущую машинку. Все, кроме свободы.

Разве это не справедливо?

...Ангел светлый с темными крылами,

Не бросай меня, не улетай.

Все, что было, милый, между нами,

В тайне сохраняю я, так и знай...

*Осень 2006 г.*

# СОЛИСТ ХОРА

Зачем он родился? Зачем он жил?

Зачем он приехал издалека в этот южный приморский город?

Зачем он вскочил на ходу в переполненный жаркий трамвай?

Горячие потные спины, крутые бока, расплавленные женские груди, раскаленная протоплазма...

Отец вернулся с войны целехоньким, но ужасно рискованным и заводным. Привык на фронте к ежедневной выпивке. Ворошиловские сто грамм! – смеясь, оправдывался перед матерью. Привез немецкий трофейный мотоцикл «BMW». Не машина – зверь. Так говорил отец, улыбаясь – и белые зубы его сверкали ослепительно и страшно. А сыну тогда было пять лет. Пугливый такой, нежный, маменькин сыночек, бабушкин внучек. Я сделаю из тебя настоящего мужчину! – говорил отец, сжимая его хрупкие плечи. И однажды летом они помчались за город на трофейном немецком мотоцикле. Сын сидел сзади, обхватив тонкими ручонками жесткий стан отца и окоченев от страха. Отец громко пел: «Броня крепка и танки наши быстры!» – и ветер рвал песню, и слова разлетались в разные стороны.

Мотоцикл занесло на крутом повороте. Отец, не успев допеть песню, ударился головой о придорожный столб и сразу

умер, погиб, а сын отлетел как пушинка в сторону и остался невредим.

Когда он подошел к отцу, тот лежал на спине, раскинув руки и оскалив белые зубы в последней улыбке. Смерть сшибла его на лету.

Нет, это невыносимо.

Толпа сдавила его – и он почувствовал, что задыхается, задыхается и не может сдвинуться с места, даже руку в карман протянуть не может, а в кармане лежит флакончик с таблетками валидола. Господи, боже мой. Господи, помилуй.

Господи, спаси и помилуй, шептала бабушка, мелко и часто крестясь, пресвятая богородица, спаси нас.

В церкви было тесно и душно, в полумраке мерцали свечи, золотые отблески иконных окладов, пряное благоухание ладана, тихие голоса. Душно, душно.

Бабушка работала учительницей начальных классов, и в школе, конечно, о боге не заикалась, да и дома никто, кроме него, шестилетнего внука, не знал, что бабушка страстно верует и перед сном молится на икону, спрятанную в комод, и чуть не каждый день ходит в Покровскую церковь, только он знал об этом, тем более, что частенько бабушка брала его с собой, как сейчас, например. Она говорила его матери: мы пойдем погуляем – и так и считалось, что они гуляют, а они ходили в церковь. Это, конечно, был грех – ведь обман есть обман. Это была их общая тайна. Нет, бабушка не пыталась пробудить в нем религиозные чувства, она только молилась



за него (во здравие) и за упокой его погибшего отца – своего сына. А потом, несколько лет спустя, бабушка заболела пневмонией и умерла от отека легких.

Он смотрел на нее, мертвую, лежащую на широкой постели, на ее одутловатое лицо – и ему казалось, что она кем-то задушена.

Он уже тогда понимал, что любая смерть – убийство.

Наконец-то, слава богу, долгожданная остановка – и он вышел из этой грохочущей душегубки и отдышался немного, немного ожил на свежем горячем воздухе. Сунул в рот таблетку валидола.

Огляделся вокруг – смешные украинские названия: «зупинка», «перукарня», «готель». Он стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой. Прохожие на него оглядывались. Вроде, такой же, как все – вертикальный, двуногий, в светлых брюках и клетчатой рубашке-распашонке. Но, в отличие от загорелых братьев и сестер, был он бледен, пугающе бледен.

Зашел в первый же магазин, купил бутылку минеральной воды и тут же стал жадно пить из горлышка. Вроде, полегчало. Но почему так душно?

Вышел из магазина, зашел в кафе, сел за столик возле распахнутого окна, посидел немного. И тут – духота! Просто нечем дышать! Что же делать? Куда бежать? Может, к морю?

И он быстро направился к набережной. Шел как слепой, как лунатик, качаясь из стороны в сторону, размахивая руками.

Он поздно женился, и все из-за матери, которая отвергала его невест. Никто ей не нравился. Матери в глубине души хотелось, чтоб он жил только с ней, с мамой, только рядом, неотрывно и неразлучно. И он так жил до тридцати пяти лет. А потом мать стала совсем капризной, ну как ребенок – и он терпеливо старался исполнять все ее прихоти. Она часто болела, и он ухаживал за ней лучше любой сиделки.

Сам он служил в оперном театре – в хоре. Всегда мечтал быть солистом, но мало ли кто о чем мечтает. Страх помешал ему стать солистом. Он знал свое место: в хоре, среди прочих, рядышком, плечом к плечу, в одной шеренге. Он пел исправно. Голос у него был хороший – чистый, мягкий такой баритон. Но и в голосе его слышалась некая робость. Лишь изредка он прекращал петь – и прислушивался: меняется ли звучание хора из-за отсутствия его голоса? И замечает ли кто-нибудь это отсутствие? Нет, не менялось звучание хора – хор пел замечательно и без него. И никто ничего не замечал. Хотя, разумеется, с его участием хор пел еще лучше, но эта степень улучшения была настолько мала, что он чуть не плакал от обиды и унижения.

Солист хора – вот кто он был, – хоть это словосочетание и звучит нелепо. Солист хора. Солист хора.

А когда он уже вышел на набережную, и увидел яркое лазурное море, и спустился на каменистый пляж, и с наслаждением вдохнул глоток свежего морского воздуха – у него что-то вдруг взорвалось в груди, и он рухнул на горячие камни.

Однажды мать попросила его сбегать в магазин за сливками – и он побежал. Пришлось долго стоять в очереди, а когда он вернулся – мать, мертвая, лежала на полу, на спине, раскинув руки. Посиневшее и опухшее ее лицо было залито кровью, а на правом виске багровела глубокая рана. Вероятно, она упала и ударилась виском об угол письменного стола. Так оно, конечно, и было. Так и врач потом сказал.

Но ему и тогда, и потом, и всегда продолжало казаться, что мать не сама умерла, а была убита – словно кто-то с размаху ударил ее в лицо тяжелым камнем с острыми краями.

Кто-то из загоравших на пляже склонился над ним и сказал: А мужик-то не дышит. Женский голос брезгливо произнес: алкаш несчастный. Мужской голос возразил: Откуда вы знаете, что алкаш? Лучше б вызвали скорую.

Солист хора был еще жив, но уже ни о чем не думал и почти ничего не чувствовал. Он лежал на горячих камнях, под палящим солнцем, и ему было все равно. Губы его посинели, раскрытые глаза застыли и потускнели.

Вскоре после смерти матери он женился на костюмерше, которая работала в том же оперном театре. Костюмерша была влюблена в него давным-давно и терпеливо ждала, когда же умрет его мать – и вот, наконец, дождалась. То есть она, конечно, даже во сне не сознавалась себе в этой жестокой мысли – и все-таки весть о смерти его матери очень обрадовала костюмершу, и только тут, осознав эту свою жестокую радость, она поняла, какая же она, черт побери, грешная

сука, но ведь жажда счастья куда сильнее, чем жажда справедливости – и она быстренько себя простила за всё: за прошлое, настоящее и будущее.

А он женился с радостью и любовью. Но он тоже не отдавал себе отчета, что женится не столько по любви, сколько скрываясь от страха одиночества. Он долгие годы бежал по темному лесу – и вот, наконец-то, увидел впереди просвет и услышал голос: люби меня! И откликнулся, и прижался к горячей груди влюбленной в него костюмерши и вздохнул с облегчением: слава тебе, господи. Но, когда уже мухи стали роиться над его лицом, а потом и бесстрашно ползать по его белым щекам и синим губам – людям стало стыдно притворяться равнодушными, и над ним склонилось сразу несколько человек. Да ведь он умер! – сказал мальчик в красной панамке. И все сразу поверили мальчику.

А потом родился сын, а потом дочурка – и он чувствовал себя все более и более счастливым, и каждое прикосновение к нежной душистой младенческой плоти наполняло его душу почти невыносимой острой и сладкой нежностью.

И даже в театре, в хоре, он почти перестал страдать от неутоленной жажды сольного пения: ничего, ничего, думал он, все прекрасно, все хорошо, никогда мне не быть солистом, значит, не судьба, но ведь дома меня ждут мои ненаглядные крошки – и он начинал петь так старательно и громко, что маэстро в антракте даже вынужден был сделать ему замечание: ты, брат, не очень-то надрывайся.

Но он был еще жив – и пульс его еще тоненько бился – еле ощутимая ниточка пульса еще связывала с землей его измученную душу. И душа его, как обезумевшая птица, билась в тесной грудной клетке – но этого никто не мог видеть.

Наконец-то приехала скорая помощь. Еще раньше подбегал милиционер и стал делать ему искусственное дыхание, а этого делать не следовало. Ему нужен был полный покой, а милиционер старательно терзал его тело, делая согласно инструкции искусственное дыхание.

Потом милиционер устал и решил проверить его документы.

Нет, не суждено ему было жить в покое и радости – обрушились новые пытки, и главная: страх за детей. Впервые он испытал этот новый страх в ту кошмарную апрельскую ночь, когда стал задыхаться от крупы старшенький – и в те часы, пока не приехал врач, пока мальчика не увезли в больницу, пока не купировали приступ, – в те часы он сам умирал многократно от страха за маленького сыночка.

Нет, так жить невозможно, – бормотал он потом, вытирая слезы, когда беда пронеслась, но душа его уже не могла расслабиться и распрямиться, душа оставалась сжатой в судорожный болезненный комок, душа его видела на горизонте приближение новых неотвратимых несчастий.

Как спрячешься в этом мире от горя и бед? Куда укроешься от болезней и катастроф? Смерть – за каждым углом. О, боже, хотя бы деточек – спаси и помилуй.

Но страх не проходил, не исчезал, не отпускал, не расслаблял свою мертвую хватку.

С того дня он не жил – прозябал в круглосуточном страхе. Любая пустячная детская хвороба доводила его до обморока, до оцепенения. Он впадал в тоскливую прострацию – и жена упрекала его, смеялась над ним, рассказывала о его беспричинных страхах своим подругам и соседям.

А он не мог ничего с собой поделать. Страх был сильнее его.

Дети казались ему беззащитными, обреченными на болезни и мучительную смерть – и от этих навязчивых страхов он не мог избавиться, как ни пытался.

Наконец, он вообще стал жалеть, что женился и завел детей.

Лучше б я жил один – и мучился бы один потихоньку. Зачем я умножил свои мучения?

Так думал солист хора – и все чаще в театре он лишь раскрывал рот, а не пел, и никто этого не замечал. Он боялся петь, потому что ему стало казаться, будто голос его фальшив и он сможет нарушить гармонию хора. А ведь он заблуждался – голос у него был лучше, чем у многих прочих. Но – боялся. И лишь рот раскрывал. И получал за это зарплату. И умирал от стыда.

Стыд и страх – убивали его с каждым днем.

Милиционер сказал, что у покойника нет никаких документов. Вот и разбирайся теперь с ним, – сказал милиционер.

нер. – Явно не местный – совсем ведь не загорелый. И документов нет. Кто он? Откуда? Зачем он сюда приехал? Попробуй теперь, опознай. Беда с этими бомжами-покойниками.

Но он еще был жив.

– Разрешите, – сказал врач скорой помощи. – Расступитесь, пожалуйста. И не толпитесь.

И вот, когда двойная пытка – стыдом и страхом – стала совсем невыносимой, – он сбежал, убежал, уехал, улетел – в этот южный приморский город.

Он снял комнату на окраине, неподалеку от моря, которое шумело так же величаво и гармонично, как оперный хор, – а потом он сказал хозяйке, что выйдет прогуляться, повесил на спинку стула пиджак, в кармане которого лежал паспорт – и отправился на прогулку, подгоняемый стыдом и страхом.

Тяжелое тело положили на носилки, а потом втолкнули в машину.

И вот тут, наконец-то, душа его, измученная и освободившаяся от стыда и страха, от ожидания бесконечных утрат, душа его оторвалась, а точнее – вырвалась как птица из грудной клетки – и устремилась ввысь и ушла в небеса, без оглядки, умчалась туда, где порхает незримая бесчисленная стая крылатых ее сестер и где не смолкает хор, управляемый неумолимым маэстро.

*1985 г.*

# КРИВАЯ БАЛЛАДА

(Дневник советского поэта)

**3 ноября 1981 года.**

Кровь-любовь.

Россия-мессия.

Ширь-Сибирь...

Одно и то же, куда ни плюнь! Ни одной свежей рифмы!

Не говоря уж о мыслях...

Когда сидел на школьной парте я,  
Моей рукой водила партия!..

Боже ж ты мой, как мне всё это надоело, осточертело, остопи... Стоп. Спокойно. Да как тут будешь спокойным!

С утра – сплошные неприятности. Заскочил в газету – узнал, что мои стихи выкинули из праздничного номера. А ведь вчера обещали. Поцапался с редактором. Занял трешку у Акимыча, пошел в «Сосульку». Вина не было, взял сотку коньяку. Прощай, трешка. Зашел в бюро пропаганды – дали путевку на выступление. В городской ДК. Забежал домой, прилег вздремнуть на полчаса – и проспал два часа. Проснулся, вскочил, помчался галопом, пришлось на тачку



потратиться. Прощай, полтинник. Выскочил из такси, как раз напротив ДК, перебежал улицу – и попал в лапы гаишников. Они, как назло, именно сегодня облаву устроили. Ни раньше, ни позже. На меня – персональная охота! Я в крик – мол, я поэт, опаздываю на выступление. Они очень вежливо выслушали, а потом все-таки оштрафовали. На пять рублей. Грабеж! Денег у меня с собой не было – значит, в Союз пришлют бумагу о штрафе. Вычтут из скудных доходов.

Вот невезуха!

Злой как черт, я ворвался в ДК, скинул полушубок, промчался в зал – а там уж мероприятие в разгаре. Публики – человек двадцать, а в президиуме – толпа, всякие разные официальные лица. Я с краю примостился, отдышался, спросил шепотком у соседки, напудренной дамочки: – Что за тема-то? О чем толковище?

Она как зыркнет на меня – я аж дрогнул. Важная, видать, мадам. Потом выяснилось – из отдела культуры. Кира Петровна. Большая шишка. А я к ней – с такими вопросами. Ладно. Сижу, оглядываюсь, на стене – вижу – плакат: «Привет участникам краевой декады молодежной книги!» Понятно. Значит, декада. А о чем я конкретно должен им говорить-то? Лихорадочно соображаю, а куража – нету. Злость разбирает. Очень уж этот штраф меня огорчил. На пятерку ограбили, суки гаишные.

Эта самая Кира Петровна выступила с докладом. Несла обычную чушь – я даже не слушал. Заметил только, что, пе-

речислѣя «активно работающих кырских писателей», она назвала одного прозаика, который умер лет пять назад. Из этого я сделал вывод, что текст доклада сочинен давным-давно и многократно уже использовался, с незначительными добавками. И от этого злость моя еще усилилась.

А тут ведущий мою фамилию объявил: «Слово предоставляется молодому поэту Михаилу Незлобину!»

Что ж, я встал, подошел к микрофону, прочитал подходящее стихотворение про сибирскую молодежь, которая где-то там чего-то строит, потом рассказал о своих друзьях – молодых поэтах. Говорил я вяло, без азарта, и всем это было заметно. Ведущий, конечно, задал вопрос о моих творческих планах. Я ответил, что из суеверия не хочу делиться планами. Чтоб не сглазить. И не стал делиться. Ну их в баню. У меня, если честно, и планов-то никаких нет. Ведущий спросил, люблю ли я выступать в рабочих общежитиях – и я ответил, что не люблю, потому что рабочие парни не очень-то интересуются поэзией, но я все-таки не отказываюсь от таких выступлений, так как за это платят.

– Вы, конечно, шутите? – спросил ведущий.

– Вовсе не шучу, – сказал я сердито. – Мне ведь тоже надо кушать.

Ведущий жутко смутился и снова задал вопрос о моих творческих планах.

– Повторяетесь, дружище, – сказал я, ухмыляясь. – Говорить о планах – дурная примета. А то некоторые кричат, мол,

они перевыполняют пятилетку, а потом...

— В таком случае, разрешите поблагодарить вас за выступление, — пробормотал ведущий.

Я сказал: спасибо за внимание, — получил от подскочившей барышни красную гвоздику и сел на свое место.

— Как вам не стыдно?!.. — зашипела мне прямо в ухо Кира Петровна (которая из отдела культуры). — Я сообщу в писательскую организацию — пусть там разберут ваше поведение!

— А что такое? — опешил я. Она меня напугала своим напором. И ведь не знакома со мной, впервые встретились — а прет, как танк. Жаром пышет. С чувством собственной абсолютной правоты.

— Лучше было совсем не выступать! — продолжала она терзать меня гневным шепотом. — К чему эти пошлые меркантильные рассуждения? И потом — почему вы уклонились от разговора о своих творческих планах? Откуда такое пренебрежение?

— Я же вам объяснил — это дурная примета... — заикнулся я, но она меня перебила:

— Как вам не стыдно — советский поэт, и какие-то предрассудки! Вы хоть соображаете, что говорите?!

— Да что вы на меня накинудись? — окрылся я. — С какой стати я должен выслушивать ваши нотации? Лучше бы свой собственный доклад подновили — а то мертвых душ навставляли... Скажите еще спасибо, что публика вас не слушала.

— Что такое? — побледнела она. — Да как вы смеее?!..

– Тише, тише, – осадил я ее. – Мы в президиуме находимся, не на базаре. На нас смотрят.

– Хорошо, поговорим в другом месте, – угрожающе сказала она. – Я этого так не оставлю. Распустились совсем.

– Ой, не пугайте, – отмахнулся я.

И пересел от не подальше.

А ведь если честно, она, эта самая Кира Петровна, меня и впрямь напугала. Хоть я и кипятился, и огрызался, и фыркал, – а ведь струсил. Точнее сказать: расстроился. Огорчился слегка. И даже порядочно огорчился. Она меня подавила, травмировала своим напором, своей зверской категоричностью, абсолютной уверенностью в своей правоте. Сам-то я в себе никогда не бываю уверен. И если начальники на меня кричат – я непременно теряюсь. Притворяюсь храбреньким – а сам трепещу. Ей-богу... Что такое поэт? Бабочка, мотылек, божья коровка. В любой момент птичка клюнет – и до свиданья в раю.

**10 ноября.**

Сегодня позвонили из краевого общества книголюбов – предложили командировку в Норильск. Там у них, на Таймыре, какой-то юбилей. Пятидесятилетие, что ли. Я, разумеется, согласился. Неплохо слетать в Заполярье, встряхнуться, развеяться, пообщаться с местными поэтами, да и подзаработать можно на выступлениях.

Прихожу в ВОК, а там – вижу эту мымру из отдела культуры. Эту самую Киру Петровну. Меня в жар бросило – вот

уж кого не хотелось видеть. Притворился, что не заметил, прошел мимо, в бухгалтерию – командировочные получать. Так она сама окликнула: Товарищ Незлобин! Что-то вы не здороваетесь?

– Ах, пардон, – говорю, – не заметил.

– А я думала – обиду затаили.

– Какую обиду? За что? – делаю такие глаза. – О чем речь, простите?

– Ну, как же. Неделью назад, на выступлении в горДК... я вас тогда еще отчитала.

– Ах, это. Я про тот инцидент пустяковый и думать забыл.

– Завидую вашей забывчивости, – усмехается эта гидра. – А я, например, очень злопамятна.

– Сочувствую, – говорю. – И тем хуже для вас.

– Если б – для меня, – вздыхает она коварно. – Тем хуже – для других.

– Вижу – снова меня страшит. И самое обидное – я ее снова боюсь. Вот сука. Чего ей надо? Аж колени ослабли, и сердце колотится.

– У вас, – говорю, – ко мне важное дело?

– Угадали, – и смеется. – Да вы так не напрягайтесь... чудак. Я тут узнала, что вас посылают в Норильск, а мне как раз нужно срочно туда кое-что передать. Бумаги всякие, почетные грамоты... у них же там юбилейные торжества.

– Я, – говорю, – в курсе.

– Вот и передадите. Не возражаете?

– Да ради бога, – говорю. – Кладите в мой портфель эти ваши бумаги.

– К сожалению, – говорит, – я не взяла их с собой. Дома оставила. Может, заедем? На моей машине. Кстати, я ведь обязана провести с вами установочный инструктаж. Вы уж простите, но так положено.

– Чего-чего?

– А чтоб не повторился недавний инцидент, – усмехается. – В Норильске вы должны быть особенно осмотрительны. Каждое неудачное или неточное ваше слово будет потом перетолковываться вкривь и вкось. Вот я и хотела...

– О, господи, – говорю. – Так, может, мне лучше отказаться от этой командировки?

– Что вы, что вы! – восклицает она. – На вас пришла персональная заявка. Ваши стихи пользуются в Заполярье определенным успехом...

– А что это значит – «определенный» успех? – перебил я. – Это значит – большой, средний, маленький, сомнительный, незначительный... а?

– Не придирайтесь к словам, – говорит и хмурится. – Откуда в вас, молодом человеке, столько желчи?

Я пожал плечами.

– Вот я, – говорит, – старше вас, а ведь я – неукротимая оптимистка!..

– Вы – старше меня? – удивляюсь притворно. – Да вам больше тридцати не дашь.

– Перестаньте, – и она зарделась девичьим румянцем. – Мне за сорок... Впрочем, не будем отвлекаться. Я жду вас в машине. Получайте свои командировочные, пока касирша на обед не ушла.

Через несколько минут я уже сидел рядом с ней в кабине новеньких «жигулей». Мадам – за рулем.

– Казенная, – говорю, – машинка?

– Нет, что вы. Казенная – «волга». А это – моя, собственная. Я потом сразу к мужу поеду, на дачу, поэтому и решила на своей, чтобы шофера не тревожить.

– Да вы гуманистка и демократка!

– Оставьте свой сарказм, товарищ Незлобин. Он вам не к лицу.

– А вы хорошо водите машину, – подкинул я очередной комплимент.

Она опять порозовела. А ведь я сказал почти всерьез. Мне всегда нравились женщины за рулем. В этом есть нечто романтическое. Нечто возбуждающее. Женщина за рулем – это символ нашей эпохи. Женщина – за рулем... это амазонка! Самая невзрачная, самая тусклая бабья физиономия – преобладает, когда женщина садится за руль. Тем более – Кира Петровна. В юные годы она, вне всяких сомнений, была х о р о ш а... И вдруг я подумал: а ведь это ж простая баба! Только сверху, только снаружи – начальница, важная особа, сановная дама, а внутри-то... а если хоть чуть копнуть – простая советская баба из плоти и крови. С мечтами, обидами,

разочарованиями, с тайными женскими вожделениями.

А что? Она еще и сейчас – вполне. Стройная, шея почти без морщин, блеск глаз не утрачен, губы полные, зубы белые, прическа короткая, элегантная. Вполне. Живот почти не заметен. В дубленочке и маленьких сапожках, в шапке-ушанке. Очень даже моложавая дамочка.

– Вот и приехали, – сказала она. – Подождете здесь – или подниметесь? Есть лифт.

– Обязательно зайду, – сказал я, взглянув на нее откровенно. – Очень хочется посмотреть, как живут ответственные работники.

Она рассмеялась:

– Да уж получше, чем безответственные поэты... Пошли! Дом, разумеется, специально был выстроен для подобных товарищей, во дворе – милицейский пост, в подъезде – дежурный. Квартыры – улучшенной планировки, просторные. Лоджии обиты деревом. Поднялись на лифте. Девятый этаж. Вот и квартира. Разумеется, мне, шелкоперу, в таких хоромах не жить никогда. Ковры, хрустальные люстры, «стенка», книжные шкафы. Никого в доме.

– У вас нет детей? – спрашиваю.

Она отрицательно покачала головой. Опечалилась.

– Садитесь, – говорит, – в кресло. Сейчас я достану все эти бумаги... их тут целая кипа. Полный портфель будет. Вы уж передайте, пожалуйста.

– Конечно, передам. А нет ли у вас чего-нибудь выпить?



– Выпить?! – И она даже остановилась, посмотрела на меня с изумлением. – Вы шутите, Михаил?..

– Нет, почему же, – улыбнулся я, глядя ей прямо в глаза взглядом бравого солдата Швейка. – Что ж тут такого особенного? Если у вас ничего не имеется – тогда другое дело. А если есть...

– У меня всё есть, – сказала она растерянно. – Но как-то странно...

– Что ж тут странного? – И я рассмеялся. – Странно, что вы сами не предложили – пришлось выпрашивать.

– Нет, странно, странно... – повторила она, потом открыла дверцу бара. – Вам чего? Коньяк, водка, виски?

– Разумеется, виски, – сказал я. – И себе плесните.

– Мне нельзя, – отказалась она. – Я за рулем.

Она плеснула мне шотландского виски в широкий толсто-стенный стакан.

– Лед нужен? – спросила.

– Нет, спасибо. От конфетки не откажусь.

Раскрыла коробку шоколадных конфет. Я выпил, зажевал.

– Замечательная конфетка, – сказал я, жмурясь от удовольствия. – И где вы такие достаете?

– Спросили бы – где я достаю виски.

– Где ж вы достаете виски?

– Я ничего никогда не достаю, – сказала она.

– Ах да, понимаю. Пардон. Вам нет нужды суесться. А ваш муж... он тоже служит в отделе культуры?

– Ну, что вы, – сказала она. – Он служит в «Крайплане».

– Планирует, значит? Небось, самый главный там?

Она неопределенно хмыкнула.

– Сладкая жизнь, – с притворной (а может, и неpritворной) завистью вздохнул я. – Никаких забот...

– Это у нас-то – никаких забот? – изумилась она. – Вы опять шутите, Миша...

(Я мигом засек: ага – Миша. Уже – Миша).

– Наша жизнь, Миша, – сказала Кира Петровна, – полна круглосуточных тревог и тяжелейшего напряжения. Нескончаемый стресс – вот наша жизнь. Мы взваливаем на свои плечи ответственность за сотни тысяч других людей – а это отнюдь не сладкая ноша. Отнюдь.

Она подошла к креслу, в котором я сидел, положила ладонь на мое плечо.

– Так что, зря вы нам завидуете, – продолжала она, не убирая руки с моего плеча. – Мне иногда бывает так тяжело, так тяжело... У мужа в последнее время – сплошные неприятности. Отчетный период кончается, надо подавать в Москву итоговые цифры, а план, как известно, выполнен не по всем показателям... – Мне это – не известно, – заметил я, обнимая ее за талию и привлекая к себе на колени. – Я ничего об этом не знаю.

– Вы витаете в облаках, – сказала она, не отталкивая моих рук и не вскакивая с моих колен. – Что вам земные заботы? Вы витаете... Да постой же, Миша!.. Почему ты такой несе-

рьезный? Вы, поэты – как дети!

– Да, мы как дети, – согласился я, прижимая ее к себе и целуя в ухо. – Мы, дети – цветы жизни. А вы – наши садовники.

– Не балуйся, Миша! – хихикнула она, когда я куснул ее за мочку уха. – Дай мне закончить про моего мужа...

– Плешь с ним, с твоим мужем, – сказал я.

– Какой ты циник, – вздохнула она. – А вот муж мой – подвижник, фанатик дела, чистейший человек... На него оказывают сверху жуткое давление. Вынуждают зависить некоторые цифры – а он отказывается. Чем всё кончится – не знаю.

– А я знаю, – сказал я, расстегивая ей кофточку. – Он обязательно зависит те цифры, какие надо. И все будет о-кей.

– Он такой принципиальный! – воскликнула Кира Петровна и тяжело задышала, когда я положил руку на ее грудь. – Ох, Миша... не надо.

– А пошли в кроватку? – сказал я. – Что ж мы тут, в кресле, как школьники... Где у тебя кроватка?

– Дверь направо, – прошептала она.

А потом, спустя какое-то время, мы курили в постели, ели замечательные конфеты. От выпивки она продолжала отказываться (за рулем – нельзя!), пила пепси-колу, курила «марлборо». Я листал журнальчики – «Плейбой», «Пентхауз».

– Откуда журналы? – спросил я, разглядывая голеньких

девочек в безобразнейших позах.

– Мы, работники культурного фронта, должны быть знакомы с вражеским идеологическим оружием, – сказала она, лежа с закрытыми глазами. – Вот и приходится изучать всю эту мерзость.

– Бедняжка, – посочувствовал я, – как мне тебя жаль. Отдай эти журналы мне, я ребятам покажу.

– Ты что? – И она открыла глаза. – Это только для служебного пользования!

– Всё, понял, беру свои слова обратно. А все-ж-таки, славно так жить – пить пепси-колу и виски, разглядывать «Плейбой» – и в то же время быть на переднем крае идеологического фронта. Уютный окопчик, скажи?

– Опять ты иронизируешь, – вздохнула она. – И как не надоест?

– Так ведь только поэтому ты и легла со мной в постель, – сказал я. – Тебе надоело слышать: да, да, да. Я сказал: нет – ну, тогда, там, в ДК... и тебе это сразу понравилось. Сразу захотелось, чтобы я тебя... Разве не так?

– Боже, как ты самоуверен, – сказала она. – Жизнь отучит тебя от подобной самоуверенности.

– Жизнь? – И я приподнялся на локте, посмотрел на ее рыхлое лицо, подурневшее от только что пережитых мгновений страсти. – Что ты знаешь о жизни? Жизнь – случайный подарок, а смерть – закон. Понимаешь? Нет, ты не думаешь о смерти... и все вы – совсем о ней не думаете! Это безумие

– суетиться, врать, обманывать друг друга – и не думать о смерти. Вы сами придумали правила своей игры – и сами на себя обижаетесь, и на других обижаетесь, если правила эти не соблюдаются. Вам кажется, что жизнь подчиняется вашему плану... бред! Жизнь – цепь случайностей. Лишь одна закономерность – смерть. Но о ней вы не хотите даже и думать. Что ж, пусть будет так... живите по плану, пожалуйста. А я уж как-нибудь иначе... я уж как-нибудь... Дай-ка, плесну еще виски. Да здравствует случай, дарующий нам жизнь! Да здравствует любовь – вечный двигатель жизни!

– Да ты, Миша, совсем пьян, – рассмеялась она. – Что ты плетешь? О чем ты говоришь? Ты же совсем ребенок. Ты социально инфантилен. И никаких нет случайностей. Всё подчинено железным законам.

– Ладно, – перебил я. – А вот скажи – ты задумывалась над тем, что вся наша жизнь – аморальна? Не пугает ли тебя, что подавляющее большинство людей ежедневно нарушают не только евангельские заповеди, не только моральные, но и юридические законы?

– О чем ты?

– Обо всем, – сказал я. – Или тебе некогда думать об этом? Или ты ни о чем не думаешь – а только повторяешь то, что тебе подсказывают и диктуют?

– Я тебя не понимаю!

– Все мы словно подмигиваем друг другу – и постоянно играем в какую-то дурную игру. Говорим одно, думаем дру-

гое, делаем третье.

– Кто – мы?

– Все – мы, все вокруг, абсолютно все! Все мы – преступники! Тебе нужны примеры? Пожалуйста. Вот парадокс нашего быта – в магазинах ничего нет, а у всех все есть. Мы всё д о с т а ё м. Сплошной черный рынок. Круговая порука! Нигде не продаются дубленки – а у многих они есть. Нигде нет меховых шапок – а на каждой голове шапка. Нигде нет в продаже джинсов – а все разгуливают в фирменных. Что ж это такое, Кира Петровна? Кстати, где ты отхватила эти польские трусики? Ведь не в кырском же ЦУМе?.. Вот я и говорю: все мы – преступники. Все мы повязаны одной веревочкой... А такие, как ты – хуже всех. Припали к кормушке – и не можете оторваться. И при чем тут высокие идеи?

– Как ты вульгарен, – сказала она, вставая и накидывая халатик. – Какой у тебя низменный, обывательский взгляд на жизнь... какой ты пошляк!

Я расхохотался.

– Чего смеешься? – удивилась она.

– Да так... смешно бы посмотреть на нас со стороны, – сказал я.

– Ты щенок, – сказала она. – Рубишь с плеча, абсолютно ничего не зная о сложностях административной работы.

– Я ненавижу административную работу, – быстро сказал я.

– И это – советский поэт! – воскликнула она. – И это

– гвардия идеологического фронта!..

– Какая еще гвардия? – нахмурился я. – Не болтай чепуху. Нашла гвардейца. Я – гусар идеологического фронта.

– Вот именно – гусар, – фыркнула она.

– Ты не очень-то зарывайся, – сказал я. – Твои нравоучения звучат смешно. Сама наставляет мужу рога – а мне мораль читает. Более чем странно, мадам.

– Не тронь моего мужа! – взвизгнула Кира Петровна. – Он святой человек. Он... он... Он не знает, что такое компромисс, он фанатик работы.

– Ты это уже говорила.

– И еще скажу! И сто раз повторю! – И она вдруг заплакала. – Они его совсем затуркали... загнали в угол... прижали к стене. Требуют от него...

– Кто – они?

– Те, кому нужны высокие цифры, – всхлипывая, сказала она. – Кстати, в стратегическом смысле эти люди, конечно, правы. От нас ждут плановых показателей. Иногда приходится идти на компромисс, на тактический маневр – чтобы добиться стратегического выигрыша... А мой муж – слишком честен!

– Ладно, я пойду, – поднялся я. – Зачем мне слушать дифирамбы в адрес твоего муженька? Вот увидишься с ним сегодня – и скажи ему все эти красивые слова... а мне – зачем?

– Я хотела, чтобы ты хоть что-то понял, – прошептала она.

– Ты серьезно? – удивился я.

– Конечно.

– Ф-фу... Тогда знай, что меня от твоих красивых слов тошнит, – сказал я, застегивая молнию на брюках. – Пойду-ка я в свое холостяцкое гнездышко. А тебе – пора ехать к твоему неподкупному супругу.

– Пошляк, – прошептала она.

– А ты – дура, – вяло ругнулся я. – Еще пытается меня учить... чушка! Ну, что ты понимаешь в поэзии, в искусстве? Какое ты можешь иметь к этому отношение? Одно название – отдел культуры! Тебе капустой в ларьке торговать, а не культурой заведовать!..

– Негодяй! – закричала она. – Мерзавец! Вон отсюда! Вон! Убирайся, чтоб духу твоего не было!

**12 ноября.**

Пишу в самолете – возвращаюсь в Кырск, так и не добравшись до Норильска. Славный денек я провел. Страшно вспомнить.

Ровно сутки назад, в кырском аэропорту, я узнал, что вылет всех рейсов в Норильск задерживается. Нелетная погода. Ну, что ж. Мне не привыкать. Накупил в киоске журналов, устроился в кресле, читаю. Наконец, объявили посадку. Не успели пассажиры занять свои места, как объявили, что Норильск опять не принимает, и надо выходить из самолета. Пришлось всем выйти и пешочком топтать через поле, к вокзалу, под жутким холодным ветром. Такой вариант повторился еще дважды. И каждый раз выходили и возвращались



пешком. Все ворчали – и только. Мы только ворчать умеем.

К вечеру, наконец-то, разрешили взлет. Я даже заснул в кресле. На полпути, в воздухе, вдруг опять: Норильск снова не принимает. Придется лететь до Хатанги – и там ждать. Прилетели в Хатангу, стюардесса говорит: никому не выходить из самолета, за бортом мороз сорок градусов, аэровокзал переполнен, все норильские рейсы здесь застряли, так что – лучше оставаться в салоне.

Пассажиры с ней согласились. Конечно, лучше ждать в мягком кресле. Я опять заснул. Прошло часов семь, не меньше – и тут стюардесса вдруг объявляет: Норильск до сих пор не принимает, и не известно, когда будет принимать, п о э т о м у все граждане пассажиры должны в р е м е н н о покинуть самолет и перейти в зал ожидания аэровокзала.

– А наш самолет? – спросил кто-то.

– Самолет вернется в Кырк, – сказала стюардесса.

– Ну уж нет, – заявила женщина с двумя детьми. – Кто как хочет, а я из салона не выйду. Сами же пугали – сорок градусов мороз, зал переполнен... и сами теперь нас выгоняете?!

– Но поймите, гражданка...

– Чего тут понимать? – закричали вразнобой пассажиры. – Вышвыриваете нас на мороз – а сами домой, да? Ловко придумали. Нет уж, вы нас доставьте до места назначения! Товарищи! Товарищи! Оставайтесь на своих местах! Не бойтесь – никто нас за это не накажет! Они обязаны доставить нас до Норильска! Будем сидеть и ждать!..

– А если ждать придется сутки? – сказала стюардесса.

– Будем сутки ждать! – закричала женщина с двумя детьми. – Что ж вы предлагаете – чтобы я сутки стояла в холодном зале, с двумя младенцами на руках?!

– Граждане, граждане, не надо волноваться, – сказала растерявшаяся стюардесса («Уже не товарищи, уже граждане», – отметил я). – Зачем такой шум? Все равно ведь придется освободить салон. Есть указание из Кырска.

– А мы никуда не уйдем, – сказал лысый старик. – Что, милицию позовете? Так в Хатанге на нас милиционеров не хватит. Нас тут полторы сотни. Давай, тащи меня, если сможешь.

– Точно! – воскликнул какой-то парнишка, возбужденный нечаянным приключением. – Бунт на корабле! Все остаемся на своих местах! Смотрите, чтоб никто не сдрейфил!

– Это безобразие, – бледнея, сказала стюардесса. – Вы ответите за это хулиганство!

Пассажиры кричали, ругались, отказывались выходить из самолета – а я молчал. Мне было почти все равно. От усталости я как-то отупел. Если бы пассажиры согласились выйти – я бы вышел вместе со всеми. Если б решили держаться до победного конца – я бы тоже остался в салоне. Мне было почти все равно. И поэтому я выбрал простейший путь: солидарность. С вялым любопытством я ждал – надолго ли хватит у «граждан» их мужества, и как долго продлится этот бунт.

Прошло ровно сорок пять минут – и граждане успокоились, смирились, и стали робко, с усмешечками, вставать со своих мест, тянуться к выходу. Последней вышла женщина с двумя маленькими детьми – один на руках, совсем грудной, второй – лет трех, закутанный в шаль. Женщина плакала от бессильной злости. Я помог ей спуститься с трапа, помог донести ее сумку до аэровокзала. Зайдя в зал ожидания, я замер в растерянности – передо мной открылась странная картина: в маленьком, тесном, холодном, туманном и слабо освещенном пространстве стояли люди, огромное количество людей. Они раскачивались, переминались с ноги на ногу, тесно прижатые друг к другу, и вся эта плотная масса чуть колыхалась как густая плазма, и дышала, дышала, дышала холодным паром, и некуда было присесть, и страшно было входить в этот якобы зал ожидания, в этот зал вечного-бесконечного-безропотного терпения, и было жутко окунаться в это переутомленное и бесстрастное людское месиво. Тупые серые лица, тусклые глаза, поникшие плечи, монотонный гул, гудение, мычание, душный пар в промозглом застойном воздухе.

Я замер на ледяном пороге, попятился. Нет, нет, ни в коем случае, – в ужасе подумал я, – нельзя сюда заходить, нельзя сюда погружаться, нельзя, потому что все это никогда не кончится, потому что мы так и будем вечно стоять в этом холодном зале, и будем вечно раскачиваться, и дремать стоя, как лошади, прижимаясь друг к другу, и пробуждаться нена-

долго, и покорно и сонно ждать, когда же объявят наш рейс, и когда же нам позволят выйти из этого душного и промозглого стойла. А что, если очень не скоро?

Да пропади всё пропадом!

К черту командировку! К черту Норильск! Скорей – в самолет, пока он еще не оторвался от взлетной полосы!

И я побежал прочь от ледяного порога, сквозь пронзающую метель, на бескрайнее поле, сквозь морозный туман, и взлетел по трапу, и быстро договорился с пилотом – и вот уже я раскинулся в кресле, в пустом салоне, и достал из портфеля бутерброд с колбасой, и яблоко, и фляжку с водкой.

А спутники мои, робкие мои заполярники, бунтари на сорок пять минут (академический час!), растворившиеся в огромной толпе таких же покорных и терпеливых страдальцев – небось, всё стоят до сих пор, и долго еще будут стоять, колыхаться, покачиваться, выдыхая холодный пар, и долго еще будут дожидаться милости от природы.

### **13 ноября.**

Домой я пришел уже утром, свалился в постель, часа три поспал. Потом позвонил в общество книголюбов, объяснил им ситуацию и сказал, что приеду с финансовым отчетом, верну неизрасходованные деньги.

В бухгалтерии, закончив все денежные дела, я поинтересовался: как позвонить Кире Петровне? Ведь я должен вернуть ей ее бумаги, которыми был набит мой портфель.

– Или, может, у вас оставить? – спросил я.

– Оставьте мне, я передам, – сказала главный бухгалтер. – Кире Петровне сейчас не до вас... у нее несчастье.

– А что такое? – насторожился я.

– Как, вы не знаете?! Впрочем, вас вчера не было, откуда ж вам знать...

– Да что случилось? – воскликнул я.

– Об этом весь город только и говорит, – главная бухгалтерша прерывисто вздохнула. – Вы ее мужа не знали?

– Нет... только слышал о нем.

– Так вот – вчера супруг Киры Петровны выбросился с девятого этажа. Насмерть.

Я только охнул. А что я мог сказать? Я ведь не знал ее мужа... а незнакомого человека жалеть трудно, почти невозможно. Вот если б я хоть раз его видел – тогда бы, конечно, посочувствовал обязательно.

– Как же это случилось? – спросил я.

– Подробности не знаю, – главбух пожала плечами. – Его личный шофер, говорят, рассказывал: утром за ним подъехал, как обычно, а он – сам-то – вышел из подъезда, уже подошел к машине, уже дверцу раскрыл – а лицо бледное-бледное! – а потом вдруг говорит: подожди, Вася, забыл я там кое-что... – и пошел назад, к дому, значит. Шофер ждет. И вдруг – звон стекла, крик, удар! – шофер выскочил из машины, а хозяин его – мертвый, весь разбитый, в луже крови, на асфальте. Он ведь в квартиру не зашел, а прямо с лестничной площадки, разбил окно – и выбросился.

– Но почему? – спросил я. – Почему он так сделал? Кира Петровна что-нибудь объясняет?

– Кира Петровна сейчас в больнице, у нее сердечный приступ, – сказала главбух. – А чего тут объяснять? И так всё ясно. Довели человека.

– Кто довел?

– Известно – кто, – горько усмехнулась она. – Впрочем, лучше помалкивать.

– Извините, – сказал я, торопливо простился с ней – и вышел из этого учреждения.

Погода стояла чудесная. Выпал свежий снег, солнце сияло, небо сверкало яркой лазурью. Ни облачка, ни ветерка.

Мне захотелось навестить Киру Петровну, успокоить ее, утешить, – но я знал, что меня к ней, конечно же, не пропустят. Мне очень хотелось хоть с кем-то увидеться, поговорить обо всем случившемся, расспросить, попытаться выяснить точные причины, – но я заранее знал, что никто ничего не знает и никто ничего не расскажет, и никто ничего не объяснит.

У меня разболелась голова. Мне казалось, что голова моя лопнет от напряжения. Я не мог ничего понять. Виски мои набухли, затылок налился свинцом, ладони взмокли от пота.

Я присел на скамейку. Я не мог ничего понять. Я не мог ничего понять. И тогда, чтоб отвлечься, чтоб как-то унять головную боль, чтоб уменьшить невыносимое напряжение – я стал смотреть на окружающий мир и подбирать ко всему

подряд рифмы.

Небо – хлеба. Солнце – донца. Тучи – кручи. Река – рука – облака. Снег – ночлег – человек. Сапоги – пироги. Машина – мужчина – кручина. Скульптура – культура – клавиатура. Кира – квартира – Пальмира – полмира. Миша – ниша. Петенька – петелька.

Только к слову «смерть» я долго не мог найти подходящей рифмы.

*Февраль 1981 г.*

*Красноярск.*

# АВТОПОРТРЕТ НА ФОНЕ КЫРСКА

## (Исповедь начинающего писателя)

\* \* \*

*Есть такое определение: начинающий писатель. Хорошо, если начинающему – восемнадцать лет, ну, двадцать, двадцать пять. А если – за тридцать? Согласитесь, что в этом случае называться «начинающим» просто неприлично.*

*Взлетная площадка не может быть бесконечной и не может быть бесконечным стартовый разгон – должен же когда-то самолет взлететь!*

*Но если взлетная площадка – зыбучий песок, вязкое болото?..*

## СЕРАЯ ПТИЦА

«...Как утверждает демографическая статистика, в последние годы в Кырске отмечается тревожная тенденция: уменьшение числа браков (в среднем на 1,2 % ежегодно) и



увеличение числа разводов (на 1,33 %). Та же статистика отмечает, что большинство новых супружеских пар (43-48 %) уклоняется от деторождения. Если указанная тенденция возобладает, то в Кырске не будет воспроизводства населения...»

(Из статьи профессора Я. Я. Глухонемкова «Будущий Кырк» – в газете «Кырская заря», 20 марта 1976 г.).

Расскажу о своей свадьбе.

Сразу должен признаться: жениться я не хотел. Почему, почему... все потому же. Боялся утратить свободу. Был уверен, что жена помешает мне вольно жить, а главное – сочинять рассказы. И все ж таки сдался, махнул рукой – жрите меня с маслом, чего уж там. Не мальчик – тридцать три года, возраст Христа. Самое время взойти на брачную Голгофу. Тем более, что вслед за распятием предполагается воскрешение... возрождение... ренессанс...

В крайнем случае, будет хоть кто-то в коляске меня катать, когда паралич расшибет. А это непременно случится – я и сейчас-то склонен к гипертонии. Да и животик намечается.

Так что, все правильно.

Пошли мы, значит, с Катюшей в загс. Свидетелями были врач Королев, мой коллега, и Таня Пирожкова, подруга Катюши. Таня была возбуждена, болтлива, а Королев все молчал, хмурился и странно вздыхал. Катюша была тиха и ласкова.

В загсе все провернули очень быстро. Правда, случилась смешная накладка: регистраторша в спешке сломала пластинку с мендельсоновским маршем, – и пришлось завести другую, случайную. «Арлекино! Арлекино!...» – надсажалась Алла Пугачева, и сатанински хохотала как раз в тот момент, когда я ставил свою дрожащую подпись. Вероятно, под влиянием этой песенки мне вдруг стало казаться, что все происходящее – чья-то шутка, мистификация.

Потом уселись в такси, покатали домой. Я обнял Катюшу за плечи, замурлыкал «Арлекино, Арлекино...», – но тут она повернула ко мне лицо – ласковое и строгое – и я быстро подумал: «Нет, брат, это не шутка... все это – всерьез!»

Такси остановилось возле подъезда.

– Ах, какая птичка! – воскликнула Таня Пирожкова, указывая на небольшую серую птицу, сидящую на заснеженной ветке тополя. – Что за птица? Впервые такую вижу. Это ж надо – какой хохолок!.. и красная полоска на крыльях, и зеленые пятнышки на грудке... а хвост – золотой!

– Это синяя птица моей мечты, – сказал я, нервно смеясь.

– Почему ж она серая? – спросила Таня.

– Потому что синей краски не хватило, – лениво вмешался Королев. – Не один ли черт? Синяя, серая. Серая птица твоей мечты.

– И не смешно, – обиделась Таня.

А Катюша только нахмурилась – и быстро сказала:

– Это свиристель. Ну пошли же, пошли скорее!

Гостей было мало, все свои люди. Король быстро напился и упал на диван. Он храпел, но вокруг все так шумели, что храп его почти не был слышен. Таня Пирожкова чуть не через каждые пять минут кричала «горько», хохотала, хлопала в ладоши, а потом вдруг всплеснула руками и заплакала навзрыд. Она плакала, плакала, и тут же смеялась, извиняясь за свой неуместный плач, — а когда я вышел в коридор покурить, Таня выскочила следом и стала громко шептать мне на ухо:

— Алик!.. я так за тебя рада! Я так вам завидую! Вы такие счастливые... а я... я так одинока... — И она в сотый раз стала пересказывать трагедию своей неустроенной жизни. У меня от ее слов заболела голова — и я вернулся к гостям.

Когда я сел рядом с белоснежной невестой, Катюша мягко ущипнула меня за бедро и быстро сказала, не разжимая губ и продолжая ласково улыбаться:

— Не пей больше. Пожалуйста, не пей. Не бери пример с Королева.

Я очень удивился — еще накануне она не посмела бы сделать мне подобное внушение. Но смолчал.

Король сладко спал. Веселье продолжалось. Гости пили, пели, плясали. Гремел магнитофон, надрывался Том Джонс, хрипел Высоцкий, кому-то уже было плохо, а кому-то, наоборот, хорошо, и у меня все сильнее болела голова. Пить больше и впрямь не хотелось.

В разгар веселья появился неожиданный и незванный гость —

мой начальник, мой главный врач. Неуклюжий, громоздкий, в ярком галстуке. Все сразу зашумели, засуетились. А шеф – поздравил меня и Катюшу, чмокнул ее в щечку и по-хозяйски прошел-прошествовал в комнату, где ему уступили почетное место. Сел, отдышался и, по-отечески улыбаясь, оглядел гостей. Пригладил остатки волос, расстегнул пиджак, поправил галстук, снял и протер очки.

И вот тут случилось одно забавное и в то же время скандальное происшествие... даже не происшествие, а так, пустяковый эпизодик... Короче, случилось вот что: в комнату вихрем влетела моя болонка Белка – она промчалась от двери пушистым белым метеором, впорхнула бабочкой на колени к главному врачу и, восторженно лая, обсикала – ах ты, господи! – новехонькие брюки начальника.

Все вокруг закричали, зашумели, выражая сочувствие моему шефу и его обсиканным брюкам. Ну а сам главный врач притворился, конечно же, невозмутимым и даже пытался небрежно шутить, – но я-то видел: он дико обозлился. Да ему просто хотелось убить мою Белочку, мою пушистую белоснежную крошку, мою дорогую любимую шалунью, – я ведь ясно видел холодную ненависть в его потускневших глазах.

Ну а Катюша, моя молодая жена – подскочила к пострадавшему главврачу (бедный начальничек!) – и стала оттирать салфеткой пятно с начальнических штанов. Мне не понравилось ее чрезмерное (я бы даже сказал – неприличное) усердие – и я строго прикрикнул:

– Катя! Не суетись! Сядь на место. Ты кто – невеста или официантка?

– Дурак! – И она сердито оглянулась через плечо. – Напился уже?.. Сиди и помалкивай.

– Ах, вот, значит, как? – тихо сказал я, и внезапная печаль сдавила мне горло. – Я, значит, дурак... да? Что ж, прошу прощения. Не буду мешать дорогим гостям. Веселитесь, друзья. Пейте, гуляйте.

– Алик, ты что? – удивился шеф, смирившийся с порчей новых брюк. – Что за капризы? Садись, брат, тяпнем по рюмашке за твою новую жизнь. Садись!

– Да нет уж, ваше превосходительство, не смею в вашем присутствии... – И я стал кривляться и корчить подобострастные рожи. – Кушайте, кушайте!.. а я постою в уголке.

– Алька! С ума сошел?! – взвизгнула Катюша, и быстро затарахтела: – Да не слушайте вы его! Он просто пьян. Не обижайтесь.

– Какие обиды?.. пустяки!.. – отмахнулся добрый мой начальник.

– Ладно, с меня хватит, – и я отошел от свадебного стола. – Пойду, проветрюсь... А вы, шеф, не стесняйтесь. Будьте как дома. Если станет скучно, вы только свистните – моя супруга вам покажет стриптиз.

– Да как ты... да ты... ты подлец! – закричала Катюша, и кинулась на меня с кулаками.

Все опять зашумели, разволновались, короче – поднялся жуткий переполох. Но я не стал их слушать, а тем более извиняться. Я вышел из комнаты и, не одеваясь, в одном своем черном свадебно-траурном костюмчике, направился прочь.

Хотел выйти на улицу, но сразу сообразил, что Катюша может догнать и вернуть меня в ненавистную душную комнату... Что же делать? Хоть и был я пьян, но быстро смекнул – лучше подняться наверх, на пятый этаж.

На лестничной площадке пятого этажа я остановился, достал сигареты, закурил. «Ничего, пусть поищут, порыщут», – злорадно подумал я о гостях, о шефе, о Катюше... Катюша! Ведь это – моя жена! Хозяйка. Хозяйка. Госпожа... Я даже застонал, бросил окурочку на пол и сердито раздавил каблук. «Это ж надо – так наколоться... на старости лет!.. Жил себе спокойно, жил-поживал, так нет – жениться дураку захотелось! Сочинил себе сказочку о славной семейной жизни... сочинитель! Всё, брат. Кончилось твое авторство – теперь вместо тебя Катюша будет сочинять. Тьфу!..»

Дверь ближайшей квартиры распахнулась, выглянул сгорбленный старик в пижаме – и сердито сказал:

– Нехорошо, молодой человек. Что ж вы себе позволяете? Сами живете на третьем этаже – не спорьте, я знаю! – а пакостить пришли на пятый? Очень красиво!

– Вы о чем? – уставился я на него как на привидение.

– Как – о чем? – И старик затрясся от бешенства. – На пол плюете, окурки бросаете... ни стыда, ни совести!

– А где ж мне курить?

– Идите на улицу – и курите себе на здоровье. Или полезайте на крышу.

– Хорошо, – кивнул я. – Насчет крыши – идея ценная. Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Вам вредно волноваться.

На крыше было хорошо.

Белый снег светился отраженным от луны матовым светом. Я присел возле люка, вытянул ноги – и свободно вздохнул. «Что ж, – подумал я, закрывая глаза, – здесь очень даже неплохо... надо запомнить это местечко... тайный приют моей печали... Ни одна душа меня здесь не обнаружит... ни за что... никогда...»

И я задремал – и серая птица пролетела над моей головой...

– Наконец-то! – разбудил меня голос Катюши. – Наконец-то я нашла тебя... глупенький! Ну и что ты этим доказал, дурачок? Аличка, золотко мое! Ну зачем ты сюда забрался? От кого ты прячешься?

– От тебя, – сказал я сердито. – От кого же еще?

– О, господи, господи, господи, – быстро сказала Катюша, и вдруг заплакала, и встала на колени возле меня... да, да! – встала на колени, прямо на снег, и обняла меня, и прижала к себе, или – наоборот – сама ко мне прижалась.

Я легко представил – как это выглядит со стороны: ночное звездное небо, белая снежная (белоснежная!) крыша, и

невеста – в белом свадебном платье – стоит на коленях, на белом снегу... красивый кадр, не правда ли? Так и просится в какой-нибудь рассказ.

– Жаль, некому нас сфотографировать, – сказал я, смеясь. – Получился бы неплохой снимок... правда, несколько претенциозный...

Но Катюша не хотела шутить. Она плакала, прожигая горячими горячими слезами мой траурный пиджак, она всхлипывала, шепча что-то неразборчивое. Она плакала так горько и безутешно, словно прощально оплакивала меня, словно только сейчас, в хмельном своем прозрении, она пророчески разглядела мою безрадостную судьбу и свою незавидную женскую участь...

А вокруг все ярче и пышнее расцветали ночные звезды, и спящий Кырск похрапывал, раскинувшись по обе стороны великой сибирской реки, и в темных домах, за хрупкими стеклами, изукрашенными морозным узором, отдыхали от любви и работы женихи и невесты, мужья и жены, начальники и подчиненные, братья и сестры... и большая серая птица убаюкивающе шумела огромными крыльями над каждым из спящих, и над нами, и над Катюшей, и надо мной.

## **АХТУНГ, АХТУНГ!**

«Неизмеримо выросли духовные потребности современных кырчан! Если в 1913 году в Кырске имелся всего лишь



один поэт, Аполлон Серебрянников, да и тот был вынужден скрываться в подполье от царских сатрапов, – то сейчас в нашем городе состоит на учете 317 поэтов, 49 прозаиков, 625 журналистов, 8 фантастов, 1 баснописец, 2 драматурга и 5 критиков. Не каждый город может похвастать столь многочисленным писательским отрядом!..» (Из статьи председателя Кырского отделения Союза писателей СССР Ю. Ю. Бармалаева «Кырк и культура» – в альманахе «Кырк», 1976 г., N 1).

Каких только на свете не встречается фамилий! Да что далеко искать – откройте кырский телефонный справочник: Абузяров, Бац, Бякин, Гоголь, Дураков, Жидик, Жалко, Жук, Чмыхало, Царевич, Шиш... ну и так далее.

А у меня был знакомый поэт, мой земляк – Тимофей Бабай. Да, такая вот у него страшная фамилия. Обычно детей пугают: не будешь спать – тебя бабай в мешок заберет!.. Конечно, фамилия не очень поэтическая. Ему бы лучше взять псевдоним. Был бы, к примеру, Тимофей Кырский. Или – Саянский. Или... Да мало ли какой псевдоним можно придумать. Так нет, уперся на своем – раз я Бабай, значит, останусь Бабаем. Вредный человек. Вредный, злой и даже несколько хамоватый. Долговязый, рыжий, лохматый, с вечным запахом перегара. Правда, в стихах своих – очень даже скромн и приличен. А вот в жизни, в быту...

Я его помню со студенческих лет – вместе в Литературном институте учились (правда, я на заочном). Ах, какие то были

сладкие времена!... какие иллюзии, мечты, перспективы... и куда все делось?

Бабай учился плохо, лекции пропускал, на семинарские занятия часто являлся пьяный. Ссорился с ректором, дрался в пивных, стипендию спускал в первые два-три дня, а потом жил на подачки. В общежитии его хриплый голос был слышен постоянно – он любил вечерами прогуливаться по коридору и выкрикивать громко и бессмысленно:

– Ахтунг, ахтунг! Тимоха на вахте! Ахтунг, ахтунг! Бабай на вахте!..

Неопытные первокурсники шарахались в стороны, прижимались к стене.

Своим разбойничьим нравом Бабай славился по всему институту. Мало кто читал его стихи – но все знали о его похождениях. А стихи были так себе – чистенькие, серенькие, гладенькие, скромненькие. Словно совсем другой человек писал. И эта скромность (на бумаге) была не случайной, а принципиальной и чуть ли не выстраданной.

Как-то я дал ему почитать свои рассказы. Мне казалось – ему понравится моя проза, насыщенная жаргоном, эротикой, анекдотическими сюжетами. Но я ошибся.

На другой же день Бабай сам подошел ко мне, посмотрел сурово и пристально, а потом захрипел, приблизив веснушчатое круглое лицо и дыша перегаром:

– Старик, это ужасно. Это – не литература. Нельзя так, старик... нельзя! Надо быть целомудренным, черт возьми,

скромным.

– Скромным?! – удивился я, впервые услышав от него одиозное слово. – Тимоха, ты ли это?.. и ты – говоришь о скромности?

– А что? Думаешь – Тимоха пьянчуга, скандалист? Так это же все – шелуха. Главное – текст. Поступки поэта – его стихи. Слышал такое?

– Слышал, не раз.

– Так вот. Ты стоишь на опасном пути, земляк. Учти и запомни – цинизм отравляет душу. Будь скромнее, старик. Будь добрее и проще.

В словах его не было ни тени лицемерия – он говорил совершенно искренне. Но я не мог, да и сейчас не могу понять: как это совмещается – хулиган в жизни и пай-мальчик в творчестве?

С третьего курса Тимоху выгнали. Он поругался с комендантом общежития – и тот пожаловался ректору. Ректор вызвал Тимоху к себе. Все могло бы ограничиться обычным старческим нравоучением, но Бабай с похмелья почему-то решил, что его так и так обязательно исключат – и явился в кабинет ректора «под газом».

– До каких пор будут продолжаться ваши безобразия? – гневно спросил ректор. – Что ж вы молчите?

– А чего говорить? – И Тимоха бросил на ректорский стол мятый листок бумаги. – Вот – примите заявление.

Ректор брезгливо взял заявление кончиками пальцев – и

прочел вслух:

– «Прошу уволить меня из этого учебного заведения по собственному желанию, так как я очень устал. Поэт Бабай». Та-ак... это что же, шутка?

– Зачем? Все на полном серьезе.

– А вы трезвым когда-нибудь бываете? – рассердился ректор. – Ведь завтра проспите – сами пожалеете. Придете потом, прощения будете просить...

– Не буду, – сказал Тимоха.

– Эх, Бабай, Бабай, – и ректор сокрушенно покачал головой. – А ведь стихи такие добрые пишете, такие чистые... Ну, что вам мешает жить нормально? Чего вы хотите?

– Я бы хотел иметь две гранаты, – сказал Тимоха, икая, – и тогда одну я бросил бы в вас, а на второй – сам бы подорвался!..

Разумеется, после таких слов никто его больше не стал уговаривать.

Так что, как видите, очень отчаянный был и гордый, этот Тимоха Бабай, тихий лирик. Остался он, значит, без высшего образования...

А у меня – все, вроде, шло гладко – и контрольные я сдавал в срок, и курсовые, и зачеты все и экзамены, и диплом получил с отличием... но судьба моя, литературная моя судьба, как известно, не сложилась, не сладилась... Работая в издательстве, редактирую чужие книги, пишу внутренние рецензии на рукописи кырских графоманов. Мои же

собственные рассказы по-прежнему не печатают. Книжка моя, мой сборник – вот уж лет семь маринуется. И все те же упреки: цинизм, мол, натурализм, сюжетные выверты, и так далее. Никакого просвета. А все почему?

А все потому, что, едва я сажусь за стол – проклятая скромность моя исчезает, и я словно пьянею, и распоясываюсь до неприличия. Ах, лучше бы – наоборот!..

В последние месяцы мне случалось частенько встречаться с Тимохой Бабаем. И беседовать приходилось. Он по-прежнему призывает меня к целомудрию и оптимизму.

– И скромности больше, старик! Больше скромности!..

Сейчас я редактирую его книжку – сборник стихов «Мои позывные» – вполне проходимые стихи, о Сибири, о тайге, о кырских заводах, о новой ГЭС.

Кстати, насчет ГЭС. Недели две назад командировали нас с Тимохой – выступить перед молодыми гидростроителями, почитать стихи, рассказать о творческих планах. Меня строго предупредили, чтобы своих рассказов я, конечно же, не читал, а поведал бы юным гидростроителям о новинках кырского книжного издательства.

Командировка прошла успешно. Гостили мы три дня – и все три дня Тимоха Бабай пребывал в непрерывном запое. Даже на прощальной встрече с читателями, за два часа до отъезда, он не смог совладать с собой – и поставил на красную скатерть графин не с водой, как обычно, а с водкой. Говорит, говорит, шутит, отвечает на вопросы, читает стихи –

а сам время от времени из стакана приглатывает. Бледный сидит, зеленоватый даже, веснушки чернеют, рыжие волосы редкими клочьями торчат на облысевшем черепе. Я сижу рядом, меня от духа его подташнивает, да и читатели в первых рядах, разумеется, прекрасно все понимают. Но ведь не злятся! Не сердятся на поэта-алкаша! Слушают его жадно и внимательно, как брата родного, как долгожданного пророка... и всё прощают... и даже любят!.. а за что? За примитивные его стихи? Нет, нет! – я знаю, за что!.. за полное соответствие традиционному образу русского поэта-забуддыги! За отсутствие интеллигентского снобизма – вот за что.

Парень-рубаша, алкаш, рыжий хрипун, грязь под ногтями на вечно трясущихся пальцах – короче, такой же, как все, простой, веселый, нахальный. Свой в доску парень, к тому же еще и поэт – как его не любить?

И они не обманываются, не заблуждаются, эти ребята в рабочих куртках, – они видят Тимоху насквозь... ну и что? Именно такой поэт им близок и дорог.

Уж, конечно, для них не секрет, что накануне отъезда Тимофей Бабай босиком носился по поселку, стараясь поймать козу Машку, и, поймав, пытался ее доить, а потом, глубокой ночью, он стоял на крыльце гостиницы и кричал в таежное глухое пространство, пугая спящих жителей:

– Ахтунг, ахтунг! Бабай на вахте!..

Все знали об этом – и любили Тимоху как раз за подобные штучки. Не сомневаюсь, что после нашего отъезда посе-

лок будет долго еще вспоминать и добродушно посмеиваться: «Даа, хорошие были писатели!.. правда, один-то, ну, этот, как его фамилия?.. он был тихоня... а уж второй, который Бабай – ох и пьянчуга! Навел тут у нас шороху! Зато – какой поэт? А? Замечательный ведь поэт!..»

Вот так создается репутация и писательская судьба.

Ну а я – что мне делать? Как мне пробиться на свою тропу? Как мне найти своего читателя? Как мне стать... уж не говорю – большим, известным, – но как мне стать – просто писателем? Быть может, я тоже должен измениться, или – хотя бы – насильственно изменить свой имидж, стиль своей жизни?

(А я-то, чудак, только и забочусь – о литературном стиле...).

Быть может, отказаться от проклятой скромности и так называемых хороших манер? Ну зачем мне все это?

О, как я отчетливо сознаю стандартное мещанство своего облика! А моя одежда?.. одни выглаженные брюки чего стоят! А мои сорочки – как они отвратительно чисты!..

Всё! Решено! Завтра же начинаю новую жизнь – встаю не раньше одиннадцати, не глажу костюм, не чищу зубы, не мою руки, не целую жену на прощанье, не спешу на службу, по пути захожу в кафе «Светлячок» и выпиваю два стакана вермута, лучше уж три, чего мелочиться, а потом, а потом, а потом – я врываюсь в издательство, плюю на паркетный пол, швыряю окурок, ругаюсь матом, сажусь прямо на полированный

стол, хватаю секретаршу за мягкое место, хохочу и надсадно кашляю, а потом говорю побледневшему шефу, хлопая его по костлявому плечу:

– Что ж ты, Васька-подлец, мою книжку опять зарубил? Без ножа режешь, разбойник! Старый ты волк! Чем я детей кормить буду, сучий ты потрох? На какие шиши я жене норковый воротник куплю? А?! Чего молчишь, крокодил, чего зубы скалишь? Давай, подписывай – пусть мне аванс дадут... Надоели вы мне, в рот вас всех. У-у, поганки трухлявые!

И все пойдет как по маслу – можете не сомневаться.

Завтра же, завтра – начну новую жизнь!

Ахтунг, ахтунг!..

## **ЗОЛОТЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ**

«...конечно, автор еще очень молод – ему всего тридцать три года. Как говорится, вся жизнь впереди. Можно надеяться, что в будущем его творчество приобретет черты подлинной идейной зрелости и высокой художественности. Залогом этому служит рассказ «Золотые колокольчики», пронизанный атмосферой искренности, душевной чистоты и поэтического...»

(Из радиопередачи «Литературный Кырск» – 25 февраля 1976 года).

Рассказ «Золотые колокольчики» был написан мною очень давно, как говорится, на заре туманной юности. Это



один из первых моих рассказов. Так себе рассказик, слабенький, наивный, сентиментальный... Хотя по нему вполне можно судить о тогдашнем моем душевном состоянии. Так сказать – памятник эпохи. Мемориальное свидетельство давно прошедшей молодости. О чем там речь, в этих самых «Золотых колокольчиках»?.. Да ни о чем. О сладком пробуждении первой любви, о стыдливом томлении плоти, о страстных объятиях в тесном спальном мешке, о таежном рассвете, о восходящем солнце, которое якобы красит в золотой цвет степные колокольчики... ну и тому подобная слюнявая лирика. Даже не рассказ – простодушная стенограмма юношеских чувств и впечатлений.

С тех пор прошло много лет, я давно растерял прежний пыл и лирический пафос, постарел и устал... а чужие нелепые слова о том, что у меня «вся жизнь впереди», вызывают лишь грустное изумление. Если до тридцати трех ничего не успел – позже уж точно ничего не сможешь, даже оправдаться.

К сожалению, литература не оставила меня в покое, как оставляет она многих румяных романтиков, едва лишь они переступят порог окончательной половой зрелости. Болезнь оказалась затяжной и, вероятно, неизлечимой. Нечто вроде наркомании... невозможно оторваться, хоть убей. Годы шли, исчезали иллюзии и детские миражи, рушились песочные замки и карточные дворцы, и все меньше оставалось каких-либо шансов, – а рука, тем не менее, не переставала пи-

сать, и пальцы продолжали стучать по стершимся клавишам ненавистной машинки, и возникали, рождались, появлялись из ничего, из пепла, из горького дыма, пустого тумана – новые и новые рассказы, повести, пьесы... и даже – стыдно сознаться! – роман. Несколько чемоданов, набитых рукописями. А публикаций – ни одной.

Я боялся встречаться со старыми друзьями – потому что каждый раз они задавали один и тот же вопрос:

– Ну, как твои литературные успехи?.. Помним, помним – в школе ты что-то сочинял!.. – И при этом лукаво грозили пальцем, и подмигивали.

О, господи!.. – в школе! – да я начал писать чуть не с пеленок. Быть может, эта болезнь – врожденная? Впрочем – молчок.

Так бы и писал я в стол – до гробовой доски.

Но недавно я познакомился с соседом по лестничной площадке. У него оказалась собачка-болонка, копия моей Белки. И вот, однажды вечером, во дворе, пока наши белокурые красавицы жадно обнюхивались, я разговорился с соседом. Выяснилось, что этот пожилой глуховатый еврей – редактор музыкальных и литературных передач на кырской радиостудии. Он мне понравился – простой такой дядька, веселый, сразу выдал обойму уморительных анекдотов, кучу сплетен... короче, давно я так не отдыхал душой, как в тот декабрьский вечер. И вот тут я расслабился – и признался ему, что пишу рассказы, пытаюсь печататься, но как-то все

не везет, и так далее. Он заинтересовался, захотел взглянуть на мои рассказы – и я предоставил ему такую возможность.

В тот же вечер я занес соседу папку с рассказами. А на другое утро он сам зашел ко мне – и торжественно заявил:

– Послушайте, мой дорогой. Это, конечно, кошмар и аморалка – почти все то, что вы пишете. И не спорьте, пожалуйста. Но «Золотые колокольчики» – прекрасный рассказ! Обещаю дать его в ближайшей литературной передаче. Слово джентльмена.

Через неделю рассказ «Золотые колокольчики» прозвучал по радио. А еще дней через пять мне позвонили из альманаха «Кырк» и сказали, чтобы я зашел просмотреть гранки – «Золотые колокольчики» включены в первый номер нового года.

Чуть ли не в тот же день рассказ «Золотые колокольчики» был напечатан в газете «Кырская молодежь», а через три дня в газете «Кырская заря» появилась обзорная статья о текущей кырской литературе – и в этой статье два абзаца были посвящены разбору художественных достоинств рассказа «Золотые колокольчики».

В предновогодние дни я был приглашен на телестудию и принял участие в доморощенном «Голубом огоньке». Сидя за шатким столиком и пощипывая апельсин, я прочитал рассказ «Золотые колокольчики» в сокращенном варианте – и сотни тысяч кырских телезрителей жадно смотрели на меня и слушали мой плохо поставленный голос.

А недавно, восьмого марта, на телевидении же, рассказ «Золотые колокольчики» был инсценирован и разыгран двумя актерами драматического театра имени Мамина-Сибиряка. Я с любопытством и стыдом смотрел на актеров-халтурщиков, произносящих мой примитивный текст. Они размахивали руками и устремляли взоры куда-то влево, где якобы подымалось солнце, золотящее пресловутые степные колокольчики.

Трижды меня приглашали в разные школы – читать популярный рассказ перед старшеклассниками. Правда, во время второго выступления я осмелился прочесть совсем другой рассказ (из последних), но ребята, вежливо выслушав, потом все-таки требовательно закричали:

– А теперь – про колокольчики!..

Что ж, я вздохнул – и прочел ненавистный рассказ. Мальчики были в восторге, девочки – плакали.

После этого вечера я получил несколько писем от школьниц. Одна десятиклассница писала, что мечтает о свидании со мной («Не хотите ли вместе встретить восход солнца?»), другая предлагала свои секретарские услуги («Знаю стенографию, могу печатать на машинке!»), а третья (кажется, семиклассница) прозрачно намекала, что может в интимной обстановке показать мне славный фокус под названием «золотой колокольчик» и кое-что еще похлеще, если, конечно, я не ханжа.

А на днях ко мне в дом пришла пожилая гражданка и,

рыдая, стала доказывать, что она – и есть та самая Марина, героиня рассказа «Золотые колокольчики».

– Алик, признайся – ты любишь меня! – кричала она в иступлении. – Ты сохранил мой образ в своей памяти! Я поняла это, когда прочла твой замечательный рассказ... А-алик! Я пронесла твою любовь через... – но рыдания помешали ей продолжить монолог.

А я, ей-богу, видел ее впервые.

Ну, тут уж мне помогла верная жена Катюша – она быстро вытолкала истеричку из нашей квартиры.

Вот так обстоят дела.

Вчера пришел денежный перевод из Москвы – в журнале «Юность» скоро появятся мои «Золотые колокольчики».

В Новосибирске готовится к изданию сборник молодых сибирских прозаиков – и там будет напечатан мой знаменитый рассказ. Скоро пришлют гонорар.

Деньги текут... не рекой, разумеется, но хорошим неиссякаемым ручейком. Журчит, шелестит бумажный ручеек. Звенят, звенят золотые колокольчики.

Правда, обидно, что никто не хочет печатать другие мои рассказы. Все говорят: «Вот если бы – на уровне «Золотых колокольчиков»!...»

Ах, молодость моя, светлая моя юность!.. – где ты? Куда ты умчалась, на каком лихом, как говорится, скакуне?..

Недавно я был в гостях у одного старика-коллекционера – и увидел в его гостиной, на старинном комоде изящней-

шую вещицу: бронзовая часовенка, а в ней – золотой малюсенький колокольчик, подвешенный на золотой же тончайшей цепочке. Деньги, к счастью, у меня были (из дальневосточного журнала только что получил за те же «Золотые колокольчики») – вот и уговорил старика, купил у него антикварную эту игрушку.

Стоит теперь на моем письменном столе бронзовая часовенка, и золотой колокольчик волшебным образом позванивает от малейшего ветерка.

Сижу я, сижу, а как устану грустить и фантазировать – чуть трону мизинцем колокольчик, он и зазвенит чудесным малиновым звоном. Прибежит любимая жена Катюша – и спросит:

– Что случилось, Алинька?

Алинька – это я.

– Кушать хоцца, – скажу, ласково улыбаясь.

– Сейчас, котик, сейчас.

Котик – это тоже я.

## РЕФЕРЕНТ

«...Кырское здравоохранение движется вперед семимильными шагами! С каждым годом увеличивается число больниц, поликлиник, диспансеров. Всё больше кырчан могут получить квалифицированную помощь в стационарах, оборудованных по последнему слову медицинской науки.

Если в 1913 году в Кырске имелся всего лишь один врач, Иосиф Маркштейн, да и тот был вынужден скрываться в подполье от царских сатрапов, – то сейчас в нашем городе функционирует многотысячная армия врачей и средних медработников. Если в 1913 году в Кырске вообще не было приюта для душевнобольных, то сейчас мы имеем прекрасную современную городскую психбольницу на тысячу коек, а в окрестностях города – еще три таких же больницы, предназначенных для душевнобольного контингента Кырской области. Если в 1913 году в Кырске не было ни одного венеролога, то сейчас ...»

(Из выступления по Кырскому телевидению заведующего Кырским городским отделом здравоохранения И. И. Шопкина – 5 марта 1976 года).

Сейчас я, как вам известно, работаю в кырском издательстве. А ведь совсем недавно был врачом городской психбольницы. Восемь лет отдал медицине, дослужился до первой категории... и зарабатывал неплохо, вполне прилично зарабатывал. И, быть может, еще продолжал бы врачевать, если бы не один скандальный случай.

Вспоминать об этом, конечно, не хочется, даже весьма неприятно (забыть бы совсем!) – но, раз уж вы просите, расскажу, только очень кратко.

Началось с того, что главный врач поручил мне, как студенту-заочнику Литературного института, написать сценарий конкурса на звание «Лучшая медсестра больницы». Я

постарался, все сделал – и вышло очень удачно, об этом конкурсе даже в «Медицинской газете» писали. В те же самые дни (роковое совпадение!) был напечатан мой злополучный рассказ «Золотые колокольчики», который очень понравился главному врачу. И возникла в его переутомленном мозгу опасная идея: сделать меня... ну как бы это точнее сказать?.. референтом, что ли. Он сам так выразился: будешь, Алик, моим референтом, ха-ха, моим, так сказать, заместителем по литературной части.

– Придворным поэтом, что ли? – сострил я, осторожно улыбаясь.

– Ну-у, зачем ты так. Референт – должность почетная. В наше бурное время, в эпоху научно-технической революции, у каждого руководителя должен быть свой референт.

Вот так. Освободил меня на полставки от курации больных – и по уши загрузил «литературной работой».

Первое время было даже интересно, и я испытывал нечто вроде спортивного азарта, сочиняя для главного врача тексты докладов и выступлений. Но прошло полгода, год – и эта работа стала мне надоедать. Да и обидно слегка: стараешься, пишешь, оттачиваешь стиль каждой фразы, – а потом выходит на трибуну лысоватый бегемот в ярком галстуке, и присваивает бурные аплодисменты. Справедливо ли это?.. Не для того я в Литинституте учился, чтоб сочинять дурацкие доклады.

Вот и решил – отказаться. Но мой голос, когда я отказы-



вался, был, вероятно, слишком нерешительным, а вид мой – слишком смиренным и робким, – поэтому шеф счел мою просьбу банальным кокетством.

– Ну, ну, ну, – добродушно похлопал он меня по плечу, – не капризничай, Алик. Ты должен гордиться оказываемым тебе доверием. Референт – это звучит гордо!

«Ах ты, гад, – думал я, глядя на его широкое лоснящееся лицо, – ах ты, паразит, вампир проклятый...»

Но настаивать на своем не осмелился.

А потом я решил избавиться от навязанной мне должности иным, более хитрым, способом. Я надумал откровенно и провокационно схалтурить – чтобы главный врач сам отказался от моих услуг.

Вскоре и случай представился. Приближалась юбилейная дата – тридцать лет со дня основания нашей психбольницы. Шеф поручил мне сочинить текст песни.

– Пусть это будет гимн Кырской психбольницы! – произнес он тоном великого полководца, рисующего на карте красную стрелу.

– Хорошо, – кивнул я, хотя до этого никогда стихов, а тем более песен, писать и не пробовал. – Будет сделано, сир.

За один вечер я настрочил текст, а в ближайшие же дни кырский композитор Яша Симкин, мой старый приятель, сочинил мелодию.

К моему великому удивлению, на юбилейном концерте никто не смеялся и не плевался, когда женский хор больнич-

ной художественной самодеятельности исполнил перед переполненным залом мою халтурную песню, мою ужасную, мою безобразную, мою маразматическую песню.

Чтобы не быть голословным, приведу один куплет и припев:

Здесь душевнобольные покой обретают,  
Здесь душевные люди за больными следят,  
А когда час разлуки у них наступает –  
Они дружно друг другу от души говорят:  
И если снова встретиться случится –  
Пусть будут наши встречи горячи!  
Да здравствует душевная больница!  
Да здравствуют душевные врачи!  
Да здравствует душевная больница!  
Да здравствуют душевные врачи!..

Сидя в последнем ряду и глядя на старательно поющих хористок, я корчился от стыда и ужаса: «Неужели... неужели это может кому-то понравиться?!...»

Моя песня не просто понравилась – она пользовалась бешеным успехом.

Ну а шеф после этого концерта совсем распоясался – превратил меня в настоящего борзописца. Сам он даже авторучкой перестал пользоваться – во всем полагался на меня. Тексты мои читал сразу, без предварительной проверки, только машинистке отдавал на перепечатку.

«Нет, дальше так продолжаться не может!..» – и я решил-ся на отчаянный крайний шаг.

На очередном заседании медсовета при горздравотделе наш главный врач должен был выступить с отчетным докладом о состоянии психопомощи в Кырске и о перспективах на будущее. Разумеется, текст был полностью написан мною. Как обычно, шеф дал лишь цифры и выводы на полстранички, – а уж я должен был облечь все это в эмоционально-убедительную форму программного доклада.

И я выполнил поручение.

Сам я, к сожалению, на заседании медсовета не присутствовал. Но один мой знакомый в тот же день, встретив меня случайно на улице, рассказывал с восторженным ужасом:

– Нет, ты только представь!.. это черт знает что! Не сошел ли он с ума, твой шеф? Не зря говорят – кто с психами долго работает, сам психом становится. Знаешь, что он плел сегодня? Во-первых, минут десять он повторял в разных вариациях одну и ту же фразу, что, мол, советские медики, как и весь советский народ, готовы приложить все свои силы, чтобы... ну и так далее. Это походило на полифоническую музыку Баха. Этакое демагогическое многоголосие. Будто в мозгу у него что-то заело... ах, братец, всего не перескажешь, надо самому слышать! А потом он вдруг стал кричать, что ваша больница плохо финансируется... «Денег! – взывал он, простирая руки в сторону президиума. – Денег нам надо! Денег!» Заведующий горздравотделом даже побледнел

от страха. Потом ваш шеф, вроде бы, слегка очухался, растерялся, стал пугливо посматривать в зал, оглядываться. Но тут же опять осмелел, уткнулся в свою бумажку – и понес такую кошмарную ахинею! Сперва он все в том же полифоническом духе варьировал фразу о том, что кырские психиатры, как и все советские медики, готовы приложить нечеловеческие усилия, чтобы перевыполнить задания десятой пятилетки... ну, ты сам можешь представить!

– Конечно, могу, – кивнул я. – А дальше – что?

– Дальше самое интересное. Под конец он вдруг закричал, глядя в зал выпученными глазами и потрясая текстом доклада: «От лица всех врачей нашей больницы торжественно заявляю с этой высокой трибуны, что мы взяли повышенные социалистические обязательства, а именно: в десятой пятилетке добиться полного исчезновения шизофрении в пределах Кырска! Ни одного шизофреника не останется в нашем городе!..» – так он объявил во всеуслышание, а потом раскланялся как дирижер и спустился в зал, спотыкаясь и покачиваясь.

– Слушай... а ты не врешь? – притворно усомнился я, содрогаясь от беззвучного хохота.

– Вот еще!.. буду я врать. Присутствующие просто обалдели. В зале после его выступления минуты две царила гробовая тишина. То есть черт знает что!.. Таких сказочных обязательств никто от него ведь не ждал. Бред собачий! Всем известно, что шизофрения неизлечима...

– А может, ему это не известно? – высказал я робкое предположение.

– Шутишь? Уж ему э то известно лучше многих других. И чего он заврался? Кто его за язык-то дергал?

– Бедный мой шеф, – сказал я, вздыхая. – Как жаль мне его, бедняжку.

Собеседник подозрительно прищурился – и покачал головой.

На другой день я подал главному врачу заявление с просьбой об увольнении по собственному желанию. Положительная резолюция была начертана немедленно – и рука шефа при этом дрожала, а сам он старался не смотреть на меня, опустив глаза в стол.

Когда я вышел из его кабинета и проходил мимо конференц-зала, – оттуда донеслись женские голоса, поющие слаженно и вдохновенно. Хор больничной самодеятельности в сотый раз репетировал (к очередному какому-то празднику) мою песню, ставшую гимном дурдома:

И если снова встретиться случится –  
Пусть будут наши встречи горячи!  
Да здравствует душевная больница!  
Да здравствуют душевные врачи!..

Ничего удивительного, – думал я, покидая родное учреждение. – Поэты уходят, песни остаются.

## БЕГ НА МЕСТЕ

«...С каждым годом все больше туристов из разных уголков нашей необъятной родины устремляется в Кырск. И в этом нет ничего удивительного! Есть на что посмотреть в нашем городе – многоэтажные новостройки, могучие заводы и фабрики, прекрасные скверы и парки, театры и музеи. И, разумеется, есть где отдохнуть: живописные окрестности Кырска привлекают кырчан и гостей города на лоно девственной природы, в расщелины сопок и скал, в тенистые березовые рощи, в романтическую глухомань сибирской тайги. Не зря многие туристы говорят: «Если ты хоть раз побывал в Кырске – обязательно сюда вернешься!»

(Из туристского путеводителя «Добро пожаловать в Кырск!» – К. 1975 г.).

Раньше я, как и вы, суетился, спешил, волновался, и мне всегда иллюзорно казалось, что я – живу. А с недавних пор протрезвел и понял: нет, друзья, жизнь проходит сама по себе, без моего участия, жизнь проносится мимо, пробегает, пролетает, протекает сквозь пальцы. Жизнь идет – а я неподвижен... Банально, конечно, но банальность формулировки только подчеркивает ее справедливость.

Ничего не успел, не достиг, не свершил... и даже ничего не разрушил. О, господи!.. страшная арифметика: десять лет провел за школьной партой, шесть – изучал медицину, а по-

том – годы, отданные врачебной практике, а потом – литинститут... и зачем? Что может быть абсурднее лечения неизлечимых сумасшедших? Что может быть скучнее работы в издательстве, где я купался в бумажной пыли, дышал этой пылью?.. В итоге – возненавидел литературу – свою и чужую, – утратил вкус к слову... какой там вкус! Мне тошно смотреть на пишущую машинку. И ведь я никогда не был уверен в значительности своей работы. Никогда. Не фанатизм, не тщеславие руководили мною все эти годы, даже не упорство. Вялое упрямство, ленивое инертное упрямство.

Бег на месте – вот моя жизнь.

Бег на месте за двумя зайцами – это ж двойная бессмыслица.

Нынче летом сошлось одно к одному. В издательстве я рассорился с директором – и подал заявление об увольнении. Холодная война с женой Катюшей угрожала перейти в горячую. С друзьями встречаться перестал, потому что, во-первых, друзей настоящих и не было, а, во-вторых, среди них преобладали собеседники и собутыльники. Ну а я, к их сожалению, устал резонерствовать и глухо напиваться. Правда, был у меня один настоящий друг, Саня Коркин, верный и преданный человек, но он... он пресытился Кырском еще раньше меня – и в прошлом году уехал (сбежал!), обменяв двухкомнатную свою квартиру на неблагоустроенную однокомнатную под Москвой, в старинном городе Дмитрове. Меня не забывал, писал письма, настойчиво звал к себе.

И вот, наконец-то, в текущее душное лето, скандально разругавшись с женой Катюшей и уволившись из издательства, я вспомнил призывные письма Сани Коркина – и решил: устрою себе каникулы! Убегу, улечу, вырвусь из этого болота, ну хоть ненадолго (а лучше бы – навсегда!), хоть на месяц, на два – выйду из утомительной этой игры, даже сразу из нескольких игр с тошнотворно-строгими названиями («семья» – «работа» – «литература») – отдохну, отдышусь, одумаюсь.

Глаза бы мои не глядели на весь этот город, размазанный как по тарелке и сжатый с трех сторон черно-синими горами, на эти стандартные небоскребы в центре и трущобы на окраинах, на все это броуновское движение... глаза бы мои не глядели.

Скорей бы, скорей – попасть в незнакомое место – чтобы лица людей обязательно были чужие и безучастные, чтоб не надо было здороваться с каждым вторым встречным, чтобы можно было спокойно гулять в одиночестве, с ленивым любопытством разглядывая не-кырские здания, не-кырские лица, не-кырские рекламы и витрины магазинов. Что угодно – лишь бы не Кырск.

Саня встретил меня в Домодедово, в аэропорту. Автобус, электричка – и вот я в Дмитрове.

Город мне очень понравился – уютный, тихий, спокойный. Старинные церкви, древний крепостной вал, деревянные домики с резными наличниками. Вечернее благоухание



черемухи и сирени.

Саня жил на глухой улочке, в деревянном домике с верандой, садом и огородом... а совсем рядом, за углом, чернел дряхлый деревянный особняк – бывшее жилище знаменитого русского анархиста, князя Петра Кропоткина.

Первый вечер мы провели на веранде, у самовара. Я тихо жаловался хозяину, рассказывая о своих бедах, а он – молча слушал, кивал и тихонько поддакивал.

Лицо у Сани было темное, печально-мудрое, а голова, как осеннее дерево, была почти без волос.

Он дал мне высказаться до конца, продолжая кивать словно бронзовый Будда, а потом объявил тихо и решительно:

– Что ж, дружище... с тобой все ясно. Живи у меня сколько хочешь. Мешать не буду, в душу твою лезть не стану... а в развлечениях ты, как я понял, не нуждаешься. Отдыхай.

Я чуть не заплакал, я хотел ему что-то благодарно ответить, – но смог лишь пожать его верную руку.

«Покой нам только снится...» – это про меня. Выспаться после приезда не удалось. Рано утром я был разбужен стуком во входную дверь. Саня, ворча и ругаясь, прошлепал босыми ногами по коридору. А вскоре послышался хриплый бас:

– Санек! Здорово! Привет из Кырска!..

Голос был очень знакомый. Дверь в комнату распахнулась – и на пороге возник врач Королев, наш общий кырский приятель – в мятом костюме, с всклокоченной бородой.

– Кого я вижу! – закричал он, бросаясь ко мне с распро-

стертыми объятиями. – Мой милый Алик! Мой нежный! Какой сюрприз для усталого странника! Ну-у, дай, дай я тебя поцелую!..

И стал меня тискать, тормошить, щекотать, оглушая хриплым хохотом.

– Не трогай его, – вмешался Саня. – У Алика депрессия... кризис... он ко мне отдохнуть приехал, забыться... а ты – со своими медвежьими нежностями...

– А-а. Понимаю, – и Королев важно нахмурился. – Не повторяй дважды. Я все понял. Сам – грущу и тоскую. Поэтому и приехал сюда – сбежал из Кырска. У-у, как мне все надоело! И больница вонючая, и жена с вечным своим нытьем, и детишки бестолковые, и теща свирепая... ой, братцы! Ну, и напьюсь же я с вами!

– Мы с Аликом не пьем, – быстро сказал Саня.

– Вот как? М-м. Ясно. Все понял. Дважды не повторяй.

– А что ты намерен здесь делать? – спросил я, тоскливо вздыхая и мысленно прощаясь с желанным покоем.

– О-о, брат, программа у меня замечательная! Хочу устроиться в дом-интернат для психохроников, – и Королев радостно потер руки. – Я уж все справки навел – тут неподалеку есть замечательный дом-интернат... в бывшем монастыре!.. А? Представляешь? И жить буду там же – в келье, как монах. Красотища! Романтика!

– Хорошая программа, – одобрил Саня.

Так нас стало трое. Три беглеца.

А вечером, когда Королев все-таки соблазнил нас на выпивку – и мы, сидя за круглым столом, обсуждали последние кырские новости, – кто-то постучал в окно.

Я вышел на крыльцо – и увидел Таню Пирожкову. Она стояла в плащике, с огромным чемоданом в руке. Глаза ее блестели в полумраке.

– Уф, наконец-то!.. Здравствуй, Алик. Думала – не найду, – привычно-возбужденным голосом сказала Таня. – А Саша – дома?

– Постой... ты откуда взялась?.. с луны, что ли, свалилась?

– Ох, Алик!.. долгая история! – и Таня нервно рассмеялась. – Устала быть неудачницей. Все надоело. Дома – родители загрызли, на работе – скукота... на личном фронте – без перемен... В Кырске ловить больше нечего и некого. Хочу пока здесь обосноваться, а потом – в Москву переберусь. Да ты не пугайся! Я у Сани ночки две-три перекантуюсь – и сваю. У меня еще один вариант в запасе имеется.

Потом уж, когда мы сидели за круглым столом вчетвером и допивали разливной вермут, я понял наконец-то из пьяных околичностей Тани, что цели у нее очень даже конкретные – найти мужа в столице. В родном Кырске все варианты отпали – вот и рванула ближе к центру.

На другой день появился еще один гость из Кырска – мой бывший шеф, главный врач психбольницы. С тех пор, как мы с ним расстались, он очень изменился – обрюзг, потолстел, отяжелел. Он прилетел в Москву на какой-то симпози-

ум, остановился в гостинице, а так как знакомых в столице у него не было, то вот и приперся на выходной день в Дмитров. Тут я впервые узнал, что они с Саней давно знакомы.

Увидев меня, главврач сразу скис, заскучал.

– Как делишки? – спросил я его. – Тебя еще не турнули из дурдома?

– Разве мы с вами пили на брудершафт? – оскорбился бывший начальник.

– В те славные годы, когда ты ежедневно тыкал меня и хлопал по плечу, тогда мы тоже на брудершафт не пили!..

Вмешался Саня. Он ловко отвел главврача в сторону, познакомил его с Таней Пирожковой – и тот быстро забыл про меня. Минут через пять они с Таней уже играли во дворе в бадминтон, и шеф смеялся как мальчишка.

– Старость – не радость! – восклицал он, размахивая ракеткой. – Проклятая одышка... и сердце колотится как у зайца. Административная работа губит здоровье!

– Да! Да! – кричала Таня.

– А вы бросьте свою работу, – советовал пьяный Королёв, который сидел на траве, полуголый, в одних плавках, с всклокоченной бородой, похожий на Вакха. – Плуньте на все. Берите пример с меня – я намерен поселиться в монастыре... Хотите составить компанию?

– Ну, это шутки! – смеялся шеф. – Разве могу я уйти, оставить больницу, больных?.. это было бы так эгоистично. Хотя, с другой стороны, хорошо бы смотаться в другой город.

В Кырске нет перспектив для роста. Вот если б в Москве!..  
– Кому ты тут нужен... – буркнул я сердито, но шеф сделал вид, что не слышал.

Так и прошел день. После обеда мы устроили прогулку по городу, бродили по дмитровскому валу, потом искупались в канале, а на обратном пути остановились возле дома Кропоткина и потолковали о судьбе князя-анархиста.

Вечером в нашей коммуне появился еще один человек.

Когда мы, все пятеро, отдыхали во дворе, в тени кустов пышно разросшейся сирени, – с громким стуком распахнулась калитка и послышался крик:

– Ахтунг, ахтунг! Бабай на вахте!.. Здорово, орлы!

Это был знаменитый кырский поэт-забудыга Тимофей Бабай.

«Господи, что ж такое творится?!.. – быстро подумал я. – Каким магнитом их сюда тянет? Что за мистика?..»

Тимофей Бабай царским жестом раскрыл портфель – и достал две бутылки «экстры».

– Водка моя – закуска ваша! – И он оглядел нас. – А чего это вы, старички, приуныли? Не журитесь, хлопцы. Все будет о`кей. Спать я лягу во-о-он на той грядке!.. Никого не стесню.

– Да ладно уж, – отмахнулся Саня, – не выдумывай. Ляжешь, как и все, на полу. Давай, разливай свою «экстру».

– Нет! Я буду спать на грядке.

– Братцы!.. – произнес я громким шепотом. – Если вы все

из Кырска уехали – кто ж там остался-то?..

– Там остались одни подлецы и идиоты, – сказал поэт Бабай, разливая водку в стаканчики.

– Золотые слова, – пробасил спящий в траве Королев, и добавил, не открывая глаз: – Мимо льешь. Кому говорю? Мимо льешь, рыжий.

– Мерзкий город Кырск, – фыркнула Таня. – Противный городишко. Порядочной девушке там даже замуж не выйти. Каждый мерзавец норовит с тобой переспать за просто так... Жулье!

– Точно, – сказал главный врач, кладя руку на танино колено. – Жулье и ворье. Прокурора нашего знаете? Ну, который без ноги. Так он недавно на взятках попался!

– Люди гибнут за мета-а-аллл! – запел спящий Королев оперным басом с приятной хрипотцой.

– Ты очень-то не кричи, – придержал его Саня. – Соседи ругаться будут. Поздно ведь уже... вечер.

– А пошли в избу! – предложил поэт Бабай. – Я вам новые стихи почитаю. Называются – «Прощание с Кырском»...

– Любопытное название, – заметил главный врач, собирая стаканчики.

– Почему – «Прощание»? – спросил я.

– Потому что... потому что... потому что – сил моих больше нет! – И Бабай вскинул руки, поросшие рыжим волосом. – Порядочный поэт не может оставаться в этом городе!.. не должен оставаться! Вот я и решил – переберусь в Моск-

ву. А пока – здесь зацеплюсь. Кырск – город прозаиков, не-поэтов. Там даже нет клуба творческой интеллигенции... я сто раз предлагал организовать, никто не хочет. А где поэтам общаться? В пивбаре, что ли?..

– Золотые слова, – сказал спящий Королев.

А потом мы перебрались в дом, и раздвинули большой стол, и долго еще сидели пьяной дружной компанией, крича и смеясь, и перебивая друг друга, засыпая и пробуждаясь, выпивая по стаканчику из бездонных волшебных бутылок и закусывая плавлеными сырками и огородной редиской.

Главный врач и Таня Пирожкова, крепко обнявшись, пели заунывно и протяжно:

– Деревенька моя! Деревенька родна-а-а-ая!..

А Тимофей Бабай декламировал, размахивая грязными пальцами и заливаясь пьяными слезами:

– Прощай, мой Кырск! Прощай, весна и детство!

Прощайте, беспощадные друзья!

Где б ни был я – мне никуда не деться

От вас, как вам – не деться от меня.

Прощай, мой Кырск! Ты был гостеприимен

И добр сибирской щедрой добротой.

Я – твой поэт, твой летописец Пимен,

Я твой судья – и вечный узник твой!..

– Молодец! Гений! – кричал я и лез обниматься. – Тимоха, дай я тебя поцелую!.. Давно бы так... а то все писал какую-то

пошлятину... Читай дальше!

– Дальше я не помню, – вздыхал Бабай. – Дальше про любовь... но я все забыл... честное слово.

– Ну, завтра вспомнишь – обязательно прочтешь.

– Друг мой! Брат мой! Усталый страдающий бра-а-ат!..

А уже под утро, когда все спали, сидя за столом (один лишь Королев свалился на пол) – в комнату вошла разгневанная Катюша, моя далекая и почти забытая жена.

– Оч-чень хорошо, – сказала она, глядя на меня в упор. – Очень красиво. Так вот зачем ты рвался из Кырска?.. вольной жизни захотелось? У-у, гад! – И она замахнулась узкой ладошкой, но я увернулся – и отскочил в сторону.

– Как ты здесь очутилась? – испуганно прошептал я.

– Не важно... А ты думал – всё? Думал – избавился от меня, от законной жены? – продолжала Катюша, и губы ее дрожали. – Подлец! Эгоист!

– Тс-с-с... Не кричи, людей разбудишь... они ж ни в чем не виноваты, – и я покосился на спящих. – Выйдем на крыльцо – там и поговорим.

Мы вышли.

Уже светало. Воздух был влажный, прохладный. Появились первые прохожие, из-за угла выкатил первый автобус. Я стоял на крыльце, глядел на просыпающийся город – и смутная тревога вдруг сжала мое сердце.

– Послушай... – прошептал я, не оборачиваясь. – Тебе не кажется странным...



– Алик, неужели все кончилось? – надрывно произнесла Катюша из-за моего плеча. – Почему ты бежишь от меня?.. почему?

– Да постой ты... послушай, тебе не кажется, что вокруг...

– Алик! Почему ты такой жестокий?..

– Замолчи! Скажи мне лучше – где мы находимся?!

Катюша молчала.

– Смотри – это же кырский автобус! – воскликнул я, пугаясь. – Рейс тридцатый, до станции «Октябрьская»... что за чертовщина?

Катюша молчала.

– И улица очень знакомая... и эти дома... смотри! – на крыше неоновый лозунг: «Превратим Кырк в город высокой культуры!» Ты видишь? Где мы находимся? Катя, где я сейчас?

– Правильно угадал – это Кырк, – сказала Катюша странным басом, – это Кырк, потому что Дмитров – всего лишь пригород Кырка...

– А Москва?

– Москва? Какая Москва? Нет никакой Москвы... это лишь романтический символ, метафора.

– Что за бред? – повернулся я к ней, и увидел, что вместо Катюши на крыльце стоит незнакомый старик – бледнолицый, седобородый, в круглых очках. – А где Катя?

– Не пугайся, – сказал старик, тихонько смеясь и чуть дергаясь от нервного тика. – Главное – ничего не бойся. Понял?

Не бойся – и ты будешь счастлив. Страх – вот что мешает тебе жить.

– Да кто вы такой? – закричал я, подбегая к нему, но старик остановил меня холодной рукой. Он лишь кончиком пальца коснулся моего плеча – а я содрогнулся от ледяного озноба.

– Я князь Кропоткин, – строго сказал старик. – Петр Алексеевич Кропоткин. Себя можешь не называть – все равно не запомню.

– Неужели... неужели я сошел с ума?.. – прошептал я, цепеня от ужаса.

– Что, испугался? Жалкий трус... Ты всю жизнь думал лишь о себе, о своем удобстве и благополучии, – укоризненно произнес Кропоткин. – А это нехорошо. Ты утешал себя мыслями, будто ты бескорыстен, чист и лишен тщеславия... а был просто слаб и ленив! Заботился только о своем душевном комфорте... уклонялся от любого конфликта... от малейшей борьбы... и чем же ты гордишься? Ну, почему молчишь? Где твое красноречие? Хотел убежать из родного города, от семьи, от близких – а зачем? Чтобы стать свободным? От самого себя?.. Никогда, никогда, никогда ты не будешь свободным – потому что ты раб своей робкой плоти. Пропавший ты человек!..

Я, конечно, хотел с ним поспорить, – но Кропоткин сошел с крыльца, махнул рукой – и исчез, растаял в утреннем сером тумане.

Ничего не понимая и не пытаясь понять, я вышел на улицу. Под ногами был густой слой мягкой и теплой пыли. Не имея ни цели, ни желания, я лениво побрел по пыльной улице... Вдруг я понял, что иду босиком – и мне очень приятно ощущать голыми подошвами нежнейшую эту пудру, пыль... и сладкое тепло стало подниматься от ног, растекаясь по всему телу, согревая застывшую душу... а слой пыли все глубже и глубже, все теплее и все приятнее...

О, родина моя, о моя строгая родина.

Не уйти, не вырваться из твоей пыльной трясины. Вот уж трудно идти, ноги вязнут, и почти невозможно сдвинуться с места... нет сил... да и незачем... И я вынужден остановиться, я погружаюсь все глубже... но что это?! – там, в глубине, под слоем теплой пыли – холодный, чавкающий, болотный кисель! И вот уже ноги завязли в болоте, вот и бедра, и пах, и живот, и грудь... вот я весь, почти весь, вот и сердце мое охвачено клейкой ледяной протоплазмой, а рот забит теплой сухой пылью... и только хрупкое горло пытается что-то произнести... о, родина моя!.. вот и рот мой залеплен ледяной болотной гущей... одни глаза – одни перепуганные глаза с монгольским раскосым разрезом тарашу я в белое небо.

Родина моя, серьезная моя родина, не признающая шуток и шутников, мой Кырск – безграничный, бескрайний и беспощадный!.. – я твой, никуда я не денусь, никому я не нужен, и тебе я не нужен, но я без тебя не смогу, и нет сил вырваться из твоих душевных ленивых объятий. Я твой раб, я

твой блудный сын, я твой бедный родственник. Не ругай, не гони, будешь гнать – сам вернусь, упаду, скорчусь под твоими пинками и, жалобно скуля, свернусь несчастным щенком у порога – вроде коврика для вытирания ног

*1976 г.*

# ПОВЕСТИ РАЗНЫХ ЛЕТ

## ПОЛУГОЛЫЙ КОРОЛЬ

### Глава первая

Это было очень давно, в 1975 году. Жила я тогда в Кырске, в общежитии при машиностроительном заводе. Я там художницей работала, на этом заводе, художницей-оформительницей. Ну, стенды, плакаты всякие, то, се. Работа скучная, но платили хорошо. А мне очень были нужны деньги – я планировала летом ехать в Москву, поступать в полиграфический. Конечно, художественное училище, которое я в Кырске закончила, это тоже кое-что, но мне хотелось получить приличную специальность.

Я была такая молодая и глупая... ах, плакать хочется. Хочется, но не буду.

Прошло столько лет, но чем дальше, тем ярче воспоминания, тем отчетливее видятся лица, тем громче звучат голоса, и особенно тот – горделивый и жестокий, капризный и ласковый.

"Воспоминания всегда всплывают некстати, как труп утопленника", – фыркнул когда-то Валера. Он любил подоб-

ные шуточки.

А для меня мои воспоминания – поддержка, выручка, утешение.

Чем дальше, тем ярче.

"Закон Рибо", – говорила по этому поводу Вика Повидлова, и объясняла, что есть в психологии такой закон, согласно которому старики куда лучше помнят события давнего прошлого, чем факты вчерашнего дня. Неужели и я – уже совсем старуха? Нет, неправда... Но почему ж тогда будущее меня не интересует и я совсем-совсем ничего не хочу?..

Я тиха и спокойна, мои седые редкие волосы гладко зачесаны набок, я сижу в мягком кресле, полузакрыв глаза, и бесцельно рисую разноцветными фломастерами чертиков, птиц, цветы... а чаще всего – обнаженного худого красавца в золотой короне. Я одна, одинока, никто сейчас не видит моих смелых рисунков ("ай да тихоня!.."), и все-таки мне становится немного стыдно – и я быстро набрасываю (с помощью того же фломастера) на голого короля набедренную повязку, или плавки, или шорты, или халат... когда что... Таких рисунков у меня скопилось очень много.

А по ночам я часто летаю. И почему-то всегда – над Кырском, над этим родным и проклятым, Богом забытым и никем не любимым городом. Я пролетаю над домом, в котором когда-то жила, над школой, в которой когда-то училась... а потом взмываю все выше и выше, и дальше – над широкой студеной рекой, над островом Отдыха, над центральной пло-

щадью с огромным памятником вождю, над парком с каруселями и колесом обозрения, над старинной часовней на Караульной горе, над кладбищем, где лежит моя мама и еще кое-кто, над аэропортом... и дальше... и выше... и проваливаюсь в мутную гущу облаков, а потом – в ярко-синюю бесконечную бездну.

И еще, по ночам... а если уж честно – и днем, при солнечном свете – очень часто я вижу – его! – моего прекрасного короля, обнаженного, в золотой короне... это он, это он, мой вечно любимый и незабвенный, смуглокожий и стройный, узкобедрый и широкоплечий... он зовет меня!.. зовет и хохочет. Повторяю: я тиха и спокойна. Мне даже странно сейчас вспоминать, в каких я была передрыгах тогда, в далеком семьдесят пятом. Странно и страшно.

Сейчас я по-старчески объективна, прохладна, мудра... или мне так лишь кажется? Помню, Валера как-то сказал: "Когда уходят страсти – приходит маразм, притворяющийся мудростью..."

Вот о нем, о Валере, я и хочу рассказать. О нем и о себе.

## **Глава вторая**

Как я уже говорила, у меня была подружка – Вика Повидлова, студентка пятого курса мединститута. Кстати – отличница. Уж не помню, как и где мы с ней познакомились. Скорее всего, у кого-то из кырских художников. Вика вооб-

ще имела массу знакомств, была очень общительной (коммуникабельной – как тогда говорили), легко увлекающейся и постоянно в кого-то влюбленной. Чем она только не увлекалась – стихами Пастернака, живописью Рериха, музыкой Шенберга, тибетской медициной. Ей нравились бардовские песни, пикантные сплетни, философские разговоры, чужие заботы. А особенно ей нравилось влюбляться. Она влюблялась во всех подряд – в художников, журналистов, артистов, профессоров, алкоголиков, футболистов, холостых, женатых. Вика была очень добрая и жалостливая. Однажды приласкала даже импотента. "Должен же кто-то его любить..." – вздыхала она совершенно искренне. И потом, она была очень начитанная. Я, простушка, ее уважала и даже побаивалась.



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.